

Евгений Попов

Каленым железом

Евгений Попов у нас —
национальный писатель.
Кто не согласен —
назовите другого



АСТ

Евгений Попов

Каленым железом

«АСТ»

2008

Попов Е. А.

Каленым железом / Е. А. Попов — «АСТ», 2008

ISBN 978-5-17-054536-0

«Каленым железом» – сборник рассказов и повестей Евгения Попова о лихой и горькой, занудной и веселой, ужасной и прекрасной жизни в государстве, которое в 1991 году перестало существовать. Но люди, если верить писателю, остались теми же, хотя многие их поступки уже нуждаются в авторских пояснениях и комментариях, которые читатель найдет в конце каждого произведения.

ISBN 978-5-17-054536-0

© Попов Е. А., 2008

© АСТ, 2008

Содержание

ВОЛГА ВПАДАЕТ В КАСПИЙСКОЕ МОРЕ	5
ЖДУ ЛЮБВИ НЕ ВЕРОЛОМНОЙ	6
ЭМАНАЦИЯ	6
РАЗОР	12
СМЕЯЛИСЬ – УЛЫБАЛИСЬ	16
ЗЕРКАЛО	19
ГОРБУН НИКИШКА	24
ЩИГЛЯ	29
КАК СЪЕЛИ ПЕТУХА	32
БАРАБАНЩИК И ЕГО ЖЕНА, БАРАБАНЩИЦА	37
КАК МИМОЛЕТНОЕ ВИДЕНИЕ	39
ЖДУ ЛЮБВИ НЕ ВЕРОЛОМНОЙ	47
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ	54
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Евгений Попов

Каленым железом

ВОЛГА ВПАДАЕТ В КАСПИЙСКОЕ МОРЕ

Обращение к читателям

Дело в том, что Россия и СССР – это, как говорят в Одессе, «две большие разницы».

Читатели предыдущей книги моих рассказов (*Попов Е. Песня первой любви. М.: АСТ, 2009*) уже знакомы со скромной мыслью, которая заключается в том, что, конечно же, новая жизнь окончательно вошла в наши крутые берега. Все у нас теперь КАК БЫ по-иному, включая цены на бензин, размеры нашей страны, степень раскрепощенности и личных свобод ее граждан. Однако «связь времен» все же не распалась окончательно и бесповоротно, как у сумасшедшего принца Гамлета. Так называемые «простые люди» не усложнились от того, что завели себе компьютеры, корейские машины узбекской сборки, научились говорить по-английски, съездили в город Париж. Или, наоборот, обнищали до состояния бомжей и частичной потери жизненных ориентиров. Люди по-прежнему остаются людьми: праведники праведниками, дураки дураками, мерзавцы мерзавцами, честняги честнягами. Любовь / кровь по-прежнему самая актуальная рифма. Родильные дома, кладбища, больницы и тюрьмы функционируют бесперебойно. Солнце по-прежнему всходит и заходит. Волга все еще впадает в Каспийское море.

Тем не менее, отдельные фразы и этих моих сочинений тоже нуждаются в некоторых дополнениях, объяснениях, уточнениях, облегчающих и обогащающих процесс чтения. Конкретные детали прежнего нашего существования могут быть не поняты молодыми людьми, которым, к счастью, не довелось испытать на собственной шкуре, что это за чудо такое – советская власть. Определенные слова «сибирского русского», на котором зачастую изъясняются мои персонажи, не доступны читателям, живущим в европейской части России, а то и за ее пределами.

Поэтому я снова осмеливаюсь предложить вам свои легкие комментарии к рассказам о той лихой и горькой, занудной и веселой, прекрасной и отвратной жизни в нашем прежнем таинственном царстве-государстве, которое накрылось в 1991 году медным тазом. Кроме того, я впервые пускаю вас на свою писательскую кухню, приводя в своих заметках конкретные примеры того, как создается аппетитное (или наоборот) варево художественной прозы. Раскрываю псевдонимы, высветляю «темные места», называю реальных прототипов своих выдуманных героев, вспоминаю ушедших друзей, которым и посвящается эта книга.

Приятного вам чтения.

Ваш Евгений Попов

Москва, 2008 год

ЖДУ ЛЮБВИ НЕ ВЕРОЛОМНОЙ

ЭМАНАЦИЯ

Не стесняясь, еще и еще раз заявляю: прекрасна наша сибирская золотая осень, когда лист шуршит в шаг, и с великой реки Е., впадающей в Ледовитый океан, тянет влажной синевой, и лебеди, курлыкая, улетают в Египет, и солнце слабеет, отпускает к вечеру, и тополь чуть дрожит в полуденном мареве, и комок к горлу подкатывает, когда видишь: ползет через серый бетонный мост красненький трамвайчик на долгом фоне яркой, охряно-пятнистой, и синей, и зеленой, и фиолетовой осенней тайги.

А вот и девушка. Девушка вышла из красненького трамвайчика и медленно спускалась к великой реке Е., впадающей в Ледовитый океан, рассеянно припинывая носком замшевой туфельки случайный малый камешек. Ее зовут Аня. Ей двадцать шесть лет. Она учится в городском педучилище и живет с родителями.

И на фоне всего вышеописанного очаровательного пейзажа вышла Аня на крутой бережок и стала спускаться к тихой волне, ленивого плеска которой не нарушал даже громадный механизм земснаряда, причаленного в протоке и вытянувшего свои толстые трубы аж до самого правого берега с целью намыва галечной насыпи для расширяющегося комбайнового завода. Земснаряд молчал. Аня вышла на родной берег к тихой волне.

А там уж и расположился на камушках невидимый сверху ее будущий муж Вася. Одетый в небогатый черный свитер, простые штаны, длинноволосый, он шурился и наигрывал на гитаре.

– *Милая, ты услышь меня...*

Аня вздрогнула, увидев незнакомого парня, услышав эти слова, но виду не подала, что смутилась и слышит. И маршрут она не изменила, чтобы Вася чего-нибудь такого не подумал, что она про него что-нибудь такое подумает.

Она осторожно подошла к самой кромке великой реки Е., впадающей в Ледовитый океан, постояла, еле шевеля губами, а потом глубоко наклонилась, и Вася услышал тихое:

– Здравствуй, Вода...

И увидел Вася длинные аккуратные ножки в белых чулочках и край белых трусиков над задравшейся мини-юбкой. И ахнул Вася, и оценил он тут взглядом всю ее: худенькую девочку с вьющимися локонами, тихую, как видно.

Он почувствовал прилив необычайного воодушевления и снова зацепил гитарные струны.

– *Милая, ты услышь меня...*

Девушка тогда заледенела спиной, выпрямилась и, слова не говоря, подвинулась в сторону, села на валун, распахнула какую-то интересную книжку.

– *Мила-я...*

Аня перевернула страницу.

– Девушка, а что это вы там такое интересное читаете? Нельзя мне тоже с вами почитать? – якобы лихо спросил Вася, который на самом-то деле вовсе не был такой уж особенный лихач.

Аня ничего не слышала.

– Девушка, вы что, глухая? – стал приближаться осмелевший будущий муж.

Так он и приближался, неловкий, смущающийся, пытаясь улыбаться, держа на отлете красивую гитару. Таким его и увидела Аня, с досадой повернувшая аккуратную головку.

– Милая... – улыбался Вася.

И тут девушка с треском захлопнула книгу и гневно вскочила. Она напряглась, напряжинилась и...

И тут включился работать доселе молчавший земснаряд. Скрежет и вой, страшный скрежет и вой плыли с земснаряда, звеня и сталкиваясь летели по толстым его трубам невидимые камни.

Девушка махала руками, девушка что-то гневно кричала, но не слышал ее опешивший Вася Феськов. Страшно исказилось, побагровело ее лицо, рубила она воздух маленьким кулачком.

И внезапно оборвался жуткий звук, в наступившей тишине Аня и слова не могла вымолвить. Она задышалась, она яростно смотрела, она вдруг прошипела:

– Дурак!

И отвесила Васе звонкую пощечину.

Вася побледнел, отступил, сцепил зубы.

А она вдруг заплакала. Она сначала всхлипнула, ойкнула, а потом и началось.

– А-ва-ва... – захлебывалась она. – А-ва-ва... – дергались птичье ее тельце, худенькая шейка.

– Девушка, что с тобой? Что с тобой? – затосковал добрый Вася.

А она вдруг ослабела, уткнулась в его свитер и, продолжая жалобно всхлипывать, бормотала:

– Какие все пошлые, какие все – пошлые, почему все такие пошлые?

– Да что ты, милая, что ты? – совсем потерялся Вася и, совсем плохо соображая, что делает, неловко обнял ее и стал гладить сухие прядные волосы.

И девушка успокоилась, легла в забытии на его плечо с закрытыми глазами. Потом вдруг очнулась, с ненавистью увидела Васю, отшатнулась и побежала. Он ее бросился догонять. Она задышалась, и он задыхался. Они оба задыхались.

Вот так и познакомились будущие супруги. Ну а вскоре после этого романтического происшествия и поженились, вступив в законный брак по внезапно вспыхнувшей любви, и зарегистрировали эту любовь в отделе ЗАГС Центрального района. Счастливые Анины родители поздравляли их, хотя и опасались слегка, что Вася будет выпивать, а Васина старая тетка, у которой он, будучи круглым сиротой, квартировал всю жизнь, даже и расплакалась. Друзья Васи имели почтительный вежливый вид, Анины же сокурсницы все больше шептались.

Так счастливо и удачно началась их совместная жизнь. Любо-дорого было бы вам на них посмотреть, на этих двадцатилетних голубков. Совсем и не узнать стало ранее экзальтированную Аню, когда она, распевая нежные популярные мелодии, плеласосила их ковры или в сотый раз натирала глянцевый паркетный пол той однокомнатной кооперативной квартиры, которую подарили им запасливые Анины родители, мудро считавшие, что ведь когда-нибудь и она выйдет замуж, их любимая доченька, не век же ей в девках сидеть. Аня к тому времени закончила педучилище и работала музыкальным воспитателем сразу в трех детских садиках, на полторы ставки. Она так сильно заботилась о Васе, она так сильно о нем заботилась, что ему временами как-то даже становилось неловко.

– Вася, да ты что же это делаешь? – вдруг ужасалась Аня.

– Что? Что? – пугался и Вася.

– Ты зачем эти старые брюки надел?

– Они мне нравятся.

– Немедленно их сними. Они мятые.

– Ну и что, что мятые, черт с ними...

– Не черт, а это ты раньше мог неряхой и грязнулей ходить. А теперь ты женатый человек. Ты идешь со мной. Все скажут, что это я за тобой не слежу.

– Да в гробу я видел, что скажут, – огрызался Вася, но брюки все же переодевал, справедливо считая, что все это мелочи и не стоит из-за мелочей спор разводить.

Сам-то он, как ему казалось, совершенно не изменился. Он по-прежнему был весел, ровен, бодр. Правда, с институтом пришлось на время расстаться – Аня сдавала государственные экзамены, нужны были деньги, и Вася пошел работать техником в горную лабораторию. Да как-то там незаметно и остался. Поигрывал на гитаре, изредка встречался с друзьями, до сих пор неженатыми.

– Все в порядке, старики, – говорил он. – Я считаю, что я прав. Я сам пошел на это, и я прав. И потом, я вам скажу, у человека в доме должен быть суп.

– Суп и в столовой есть, – возражали друзья.

– Не то, не то... – смеялся Вася. – В столовой суп есть, но нету этой... эманации. Понимаете? Эманации. Когда все напряжено, и волшебное сияние от всего исходит, невидимое сияние счастья.

Тут какой-нибудь развеселый друг озабоченно щупал Васин лоб, отчего Вася первый же и хохотал.

Ну а если честно признаться, начал, начал его грызть какой-то маленький червячок. Потому что все вроде бы и нормально шло, да как-то не так, как-то не так... С одной стороны, наверное, действительно хорошо, когда женщина следит за тобой, просит, чтобы ты не гулял и не водил ночевать в дом веселых дружков. Когда она гладит твои рубашки и прикидывает хватит ли вам до получки тех ваших ежемесячных денег, на которые вы существуете без ропота и обиды. Конечно, хорошо, а то как же иначе? А иначе – пропадешь, опустишься, измельчаешь, погибнешь без возврата.

И, будучи человеком отчасти рациональным, Вася умом-то это понимал, но все его существо вопреки мировой логике восставало против этой непонятно почему унижительной для него опеки. Дыхания ему, что ли, не хватало? И ведь знал он, что существует даже такой специальный термин «обабилась», но отчего же так быстро-то? Отчего так быстро?

И вскоре стал молодой супруг вести себя, мягко говоря, не совсем корректно. Вредничать стал, капризничать, нехорошо улыбаться. И особенно злился оттого, что Аню как-то и не особенно удивила подобная перемена в его поведении. Как будто она давно уже была готова к этому. Ровно и спокойно она настаивала на сказанном, а при грубых Васиных словах запиралась, за неимением другого места, в ванной и там тихо читала, доводя его тем самым до окончательного иступления.

Вот так и стали проходить эти их обыденные деньки – в мелкой вражде и спорах, равно как ночи – в жаркой любви.

От таких потрясений и контрастных переходов Васины нервишки стали совсем сдавать. То все грубил, бывало, а однажды, иступленный, даже замахнулся на Аню кулаком.

Это случилось так. В ранней юности Вася баловался стишками. Стишки были так себе. Вася это понимал и вскоре свои версификаторские упражнения прекратил. Но у него была громадная амбарная книга, куда он записывал всякие лично им придуманные мысли, фразы и рассуждения. О жизни и смерти, о любви и правде, о том, что бога нет, но лучше бы, если б он был. Вася цели никакой не имел, делая эти записи. Впрочем, тут я, пожалуй, не совсем прав. Временами ему казалось, что это – костяк, фундамент, на котором он когда-нибудь построит хорошую, честную, умную книгу, не «амбарную», а вечную, построит и тем самым оправдает свое существование в этом мире. Потому не для того же родился он, Василий Феськов, на земле, чтобы только так вот есть, спать, ходить на работу, целовать Аню. Хотя – хорошо есть, хорошо спать, сладко целовать Аню.

И вот что еще интересно. Ей он почему-то свои записки никогда не показывал. Да и сама она особого любопытства не проявляла, когда он, вытащив книгу из старого чемодана,

закинутого на антресоли, морщил лоб и вписывал туда мелким круглым почерком очередную свою, как он выражался, «толковую мысль».

И в тот плохой день, когда все случилось, Вася пришел с работы, поел и решил записать в книгу вопли нервного мужика, которого он видел в автобусе. Мужик тот кричал, что он только что из морга, где лежит его любезный друг, лежит бездыханный, потому что он попал под электричку. «Сашка, Сашка! – кричал мужик. – И что ты наделал, Сашка! И ведь не пьяный ты был, а на работу шел, Сашка!»

Эти нелепые выкрики и хотел записать Вася. Но он книгу на антресолях не нашел. Он обрыскал один чемодан, другой, но книги нигде не было.

– Аня, ты случайно не видела, у меня была такая книга, «Амбарная» на ней написано, зеленая такая, толстая книга? – спросил он.

– Видела, – ответила Аня, сидевшая у телевизора с шитьем на коленях.

– А где она?

– В мусоропроводе, – спокойно ответила Аня.

– Да ты что? Ты шутишь? – побледнел Вася.

– Нет, не шучу, – любезно ответила Аня. – Нисколько не шучу.

Вася побежал на лестницу, открыл мусоропровод. Там к влажной его стенке прилип какой-то бумажный обрывок.

«...изнь дается человеку случайно. По случа...

...совпадению я явился в этот мир. Так какого же че...

...трусливо цепляться за него. Мир! И тянуть и муча...»

– Зачем ты это сделала? – вскочил Вася в комнату.

– О-о, какой сердитый муженек у меня, – улыбнулась Аня.

– Я тебя спрашиваю!

– Ая тебе отвечаю! Я случайно на нее наткнулась. И случайно прочитала. И знаешь, я тебе что скажу, большей пошлости, грязи, сальности и безвкусицы я в жизни не видела...

– Да твое-то какое до этого дело? – задохнулся от злобы Вася.

– А ты повежливей, пожалуйста, повежливей. Я не спорю, в конце концов, может быть, это и не мое дело, что ты пишешь гадости даже и про меня. Ты б хоть немножко подумал! ЧТО пишешь? Ты ведь как-никак теперь семейный человек!

Вот тут-то и замахнулся на нее Вася.

– Ах ты дрянь! – закричал он.

Но Аня смотрела на него по-обычному спокойно, как-то, я бы даже сказал, светло смотрела, беспечно, равнодушно.

– Если ты меня хоть раз когда-нибудь ударишь, я от тебя тут же уйду.

– Ах ты дрянь! – кричал Вася. – Ты зачем все делаешь мне назло? Ты что, умнее меня?

– Успокой нервы! – насмешливо бросила она и повернулась уходить по привычке в ванную.

– А, черт! – взвыл Вася и, оттолкнув ее, сам туда первый кинулся, закрылся на крючок.

Трясушимися руками вырвал он из брюк ремень и остановился в растерянности, потому что он ни разу еще в жизни не вешался и не знал, как это делается.

Он подошел к зеркалу и нерешительно примерил ремень, как галстук. Из зеркала глядело на него почти незнакомое, озлобленное лицо.

– Открой! Открой! Василий, немедленно открой! – бессильно лупила в дверь Аня, которая каким-то инстинктом почуяла, что на этот раз по-настоящему плохо дело. – Открой, открой! Вася, миленький, хорошенький, родной, ну открой, открой, открой!

– Ну, чего раскричалась? – грубо спросил Вася, рывком распахивая дверь.

– Вася, я не успела тебе сказать. У нас, у нас будет ма-а-ленький!..

И Аня безудержно разрыдалась.

– Ну, зачем плакать-то? – уже мягче сказал Вася, невольно обнимая ее.

– Нет, скажи – ты счастлив, скажи – ты счастлив, счастлив? – все твердила она, запрокидывая облитое слезами лицо.

– Да счастлив я, счастлив, – морщился Вася.

А лет семьдесят до него писатель Лев Толстой сказал, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Господи, неужели и в самом деле прав яснополянский мудрец?

***...припинывая...** – На это нехитрое слово дружно ополчились читающие радители русского языка. Они утверждали, что такого слова в нашем языке нет. В вашем – нет, в моем – есть. Я это слово изобрел, люблю, считаю точным. В так называемые «годы застоя», перед тем, как полыхнул рассвет «перестройки», я, выгнанный из Союза советских писателей, получал, благодаря дружбе с тогда молодым, а ныне видным казахским писателем Ролланом С., «негритянскую работу», т. е. анонимно переводил с подстрочника прозу народов СССР. Я страшно развеселился, когда знаменитый критик Лев А., рецензируя книгу одного из «моих» авторов, написал, что писатель-то он неплохой, но вот зря сам себя переводит на русский. Плохо он знает русский. «Вот, например, дурное словечко „припинывая“, – гневался Лев А.

...вышла Аня на крутой бережок... —

*Как пойду я на быструю речку,
Сяду я да на крут бережок,
Посмотрю на родную сторонку,
На зеленый приветный лужок.
Ты сторонка, сторонка родная,
Нет на свете привольней тебя.
Уж ты, нива моя золотая,
Да высокие наши хлеба.*

Слова и музыка народные.

...комбайнового завода... – Это мирное предприятие фигурирует во множестве моих рассказов. Я уже где-то писал, что в рамках школьного «производственного обучения» числился там учеником токаря и спал во время ночной смены под станком на теплых стружках. У советского классика Владимира Маяковского (1893–1930) был в детстве «клепочный завод князя Накашидзе», у меня – комбайновый, чем хуже?

...чего-нибудь такого не подумал, что она про него что-нибудь такое подумает. – Примерно через двадцать лет после сочинения этого рассказа появился песенный шлягер со словами: «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я». «Сердце сердцу весть подает», как, по преданию, однажды выразился Максим Горький (1868–1936), когда его спросили, почему он заплакал, слушая акына Джамбула Джабаева (1846–1945), певшего, естественно, на своем языке, явно непонятном классики.

...толковая мысль... – Из фольклора советских инженерно-технических работников, часть их присказки «толковая мысль приходит опосля».

...большей пошлости, грязи, сальности и безвкусицы я в жизни не видела... – А так потому, что научили в стране «Комсомольской правды», газеты, в которой появился фельетон под названием «Осторожно. Пошлость» (о первых выступлениях Булата Окуджавы (1924–1997)).

...дрянь... – В рамках «литературной учебы» могу сказать молодым писателям, что если бы я употребил более соответствующее этой ситуации слово на букву «б», то художественный результат был бы ниже. Слова матерной лексики обладают огромным удельным весом. Как

писал все тот же Маяковский: «Марксизм-оружие, огнестрельный метод. Применяю умеючи метод этот!».

Господи, неужели и в самом деле прав яснополянский мудрец? – А Лев Толстой (1828–1910) всегда прав в отличие от Горького, Маяковского и меня.

РАЗОР

Жила-была тихая девочка около станции Уяр ВосточноСибирской железной дороги. Папаша у ней оказался порядочный сукин сын и однажды сбежал в неизвестном направлении, а мама все болела, болела, побаливала. Даже ездила раз по путевке на курорт «Озеро Шира». Болела, болела да и умерла – тихо и незаметно, скромно и немучительно.

А девочка похоронила маму и поставила крест с фотографией. Мама глядела с фотографии как живая. Девочка погоревала, распростилась с оставшейся жить неродной теткой и уехала в город.

А там она идет по улице и вдруг видит на столбе криво приклеенную бумажку:

«Пущу на квартиру адну девочку. В Покровке».

Она и направилась по адресу, оказавшись у ловчайшей старухи сгорбленной конструкции. Старуха отобрала у ней деньги за три месяца вперед, не велела никого приводить, поздно являться и «устраивать бардаки». Сама же в первый вечер напилась «Солнцедару», пошла на огород и стала зубатиться с соседкой. Соседка пустила ей в голову подсолнух. Старуха взвыла и повернулась, задрав юбки. Такое оскорбление вряд ли кто выдержит – соседка ринулась в бой, пришел участковый, составил протокол.

А девочка сначала хотела в финансово-кредитный техникум, но выяснилось, что прием туда в этом году уже закончен. Тогда она устроилась на почту и стала разносить письма, газеты, денежные переводы.

Подруг у ней не было. Она раз пошла на танцы в Политехнический институт, и там ее пригласил один длинный, лохматый. Похожий на одного из «песняров», которые сладко и звонко поют под электроинструменты с пластинки того же названия. Звали его Вовик. Он проводил ее до ворот, и стоял, и курил, и полез под лифчик, и получил отпор, и назавтра опять пришел, а старуха ей и говорит:

– Ты с этим козлом не шейся. Я по его морде вижу, что тебе от него будет разор.

– Да я и не думаю ни о чем таком, – сказала девочка.

– А ты думай не думай, а будешь с ним шиться, так и будет тебе от него разор, – наставляла старуха.

Но девочка ей не верила. Они ходили на танцы, в кино, дважды он приводил ее к себе, где сильно приставал. Но в первый раз помешал его папа. Щелкнул дверным замком и бодро крикнул в глубину громадной квартиры:

– Эгей! Люди! Кормилец с заседания пришел, голодный, как сорок тысяч волков!

А во второй – девочка сама в последнюю секунду вырвалась и убежала. Вовик остался лежать злой и крыл ее вдогонку последними словами. Но на следующий день они снова встретились.

Ну и вскоре она как-то очень даже незаметно для себя допустила лишнее, а через месяц ее и вырвало во дворе, в присутствии старухи.

– Колбасы я налопалась ливерной, – сказала девочка.

А старуха глядела пристально.

– Как бы тебя, однако, на соленькое да на известочку не потянуло от такой колбасы, – сказала старуха.

Девочка-то и не поняла – к чему это она, а потом поняла.

Она тогда пошла к Вовику, и дверь ей открыла Вовикова мама.

– Здравствуйте, – сказала девочка. – Мне Володю можно?

– Нету Володи, – ответила мама, неприязненно глядя на девочку.

– А где его искать? – спросила девочка.

– А нечего его искать, – ответила мама. – Ходят, ходят – надоели. Надо будет – он сам тебя найдет. Нечего его от занятий отвлекать. У него сессия на носу!

И захлопнула дверь. А девочка отошла к стенке, ковырнула ногтем штукатурку и стала ждать. Но Вовик не пришел. В подъезд заходили другие люди: катили коляски, несли свертки, сумки, пакеты. Здоровались, смеялись. А Вовика все не было. Девочка пошла домой.

А Вовика все не было. Девочка раз видела его через стекло. Он ехал на задней площадке трамвая и что-то объяснял, жестикулируя, своим друзьям. Он рассеянно скользнул взглядом и, наверное, на самом деле не заметил девочку.

А она шла в номерную баню. Она купила за 35 копеек билет и зашла в душевую кабину. Она вынула карманное зеркальце и стала смотреть свой живот. Живот точно стал выпуклый. Девочка повернула кран. Звонко лилась вода из-под потолка. Девочка заплакала.

А как-то она встретила Вовиноgo отца. Высокий, еще выше, чем сам Вовик, плечистый, стриженный под полубокс, папа вышел из машины, размахивая портфелем.

– Привет, кнопка! – обрадовался он. – Что не заходишь? Или с Вовкой поссорились, с оболтусом?

– Да нет, – сказала девочка.

– А что такая квелая? Круги под глазами?

– Пузо у меня, – сказала девочка.

– Чего? – поперхнулся отец. – Ты что болтаешь такое?

И девочка взяла да ему все и рассказала. И вечером того же дня папа имел с сыном продолжительную беседу.

– Ну и что ты, сын, собираешься теперь предпринять? – наконец спросил он.

– Учиться, учиться и еще раз учиться, – пожал плечами Вовик.

– А девка что будет делать, сволочь?

– А я ей десятку дам, пойдет да и выскребет, – ответил Вовик и тут же получил прямой удар в челюсть.

Ворвалась подслушивающая мать.

– Не смей бить ребенка, фашист! – кричала она. – Ему рано жениться. И эта особа вполне совершеннолетняя. Она знала, на что идет. Ты ведь ей не обещал жениться, Вовик?

– Конечно, нет, – угрюмо ответил Вовик, подсасывая сочащуюся кровь.

– И я не позволю, чтобы мой сын женился на первой попавшейся деревенщине...

– Позволишь, – недобро бормотал отец. – Позволишь! Вовик тебя попросит, и ты позволишь. Ведь правда, Вовик? Попросишь?

– Да на кой она мне на самом деле, папа? Мне еще учиться три года. Ну, на кой она мне? А потом, кому известно, что ребенок от меня? Может, и не от меня.

– Подлец! – Папа смотрел на сына с отвращением. – Подлец! Неужели ради таких воевал я на фронте, и строил, и мерз, и голодал?

– Ну, пошел... – сказала жена.

– Не пошел! – взорвался строитель. – А сделал ребенка – пускай женится. И – никаких. Все! Позорить я себя не позволю. Меня полгорода знает.

Вовик неожиданно развеселился:

– А! Могу и жениться. Мне – один черт! Она, правда, не шибко красивая. Были у меня и покачественней.

Отец тоже улыбнулся.

– А это ничего, – сказал он. – Знаешь восточную пословицу? Красивая жена – чужая жена.

– А надоест – так и брошу, – размышлял Вовик.

– Я тебе брошу! – отец погрозил ему пальцем.

Мать Вовика рыдала, и вскоре молодые уже стояли перед служащей отдела ЗАГС Центрального района.

Брачующая сказала:

– Рука об руку, деля удачи и неудачи, пройдете вы по жизни. Так пусть будет крепким ваш союз! Пусть будет крепкой эта новая ячейка нашего общества – ваша молодая семья! Ура, товарищи!

И товарищи сказали «ура» и сели в машину, всю изукрашенную лентами. Прохожие смотрели на машину. К ветровому стеклу черной «Волги» чьи-то заботливые руки привязали громадную целлулоидную куклу.

Дальше была свадьба. На столах всего было видимо-невидимо. Имелась даже красная икра. Со стороны невесты родственников не имелось. Зато со стороны жениха многие говорили речи и желали молодым обилия различных благ. Невеста сидела потупив очи.

– Пускай и молодая что-нибудь скажет, – крикнул кто-то.

Невеста встала, обвела стол и присутствующих счастливым взором и сказала, обращаясь к Вовиковым родителям:

– Дорогие мама и папа! Позвольте мне вас теперь так называть! Немалая ваша заслуга в том, что я вошла в ваш дом и стала вашей невесткой. Верьте, что я – очень работающая, а также что я всегда буду это ценить и никогда это не забуду.

И, не выдержав, заплакала. Жених улыбался снисходительно, но многие тоже плакали. Плакала мама, вытирая глаза кружевным платочком. Папа плакал, сурово кусая хорошо подстриженный ус. Многие плакали! И плакали, разумеется, от радости. А от чего же еще?

***...курорт «Озеро Шира».** – Вполне, как видите, был раньше доступен небогатым трудящимся Страны Советов. Расположен в нынешней Республике Хакасия, 175 км от г. Абакана, на северной окраине Минусинской котловины, в лесостепной зоне на берегу соленого озера Шира. Основными лечебными факторами являются высокоминерализованная вода озера (М 20–22 г/дм³), которая использовалась для наружных бальнеопроцедур с середины прошлого столетия как аналог морских купаний, и сульфидноиловая грязь оз. Утичье-3. В сочетании со степным климатом и наличием минеральных вод питьевого назначения (М 3–5 г/дм³ HCO₃-Cl-SO₄-Mg типа) данный курорт представляет собой уникальный комплекс для Южной Сибири. Показания: болезни органов пищеварения, эндокринной системы, органов дыхания, болезни мочеполовой сферы, заболевания костно-мышечной системы, нервной системы. То есть все, что нужно насквозь больному человеку.

«Солнцедар» – мерзкий советский красный, сладкий, противный, тягучий напиток, сгубивший не одного россиянина на пути страны в новые времена. Крепость 18 градусов, как сейчас помню. Непонятно, какая падла дала этой мерзости такое оптимистическое название.

Тогда она устроилась на почту... – У каждого времени свои проблемы. Анатолий Гаврилов (р. 1946), один из лучших современных рассказчиков, живущий во Владимире и долгие годы работавший разносчиком телеграмм, нынче со своей должности уволен ввиду того, что телеграммы теперь мало кто кому посылает (Интернет, доступный междугородный телефон). Но в почтальоны он не решается пойти: почтальонов с их «денежными переводами» сейчас, по утверждению Гаврилова, повадилась грабить мелкая шпана.

...сорок тысяч волков! – Папаша явно читал шекспировского «Гамлета». В одном из рассказов юного Антона Чехова (1860–1904) я обнаружил: «Пьян, как *сорок тысяч братьев...*».

Номерная баня – баня, где имелись НОМЕРА для индивидуальной, а не прилюдной помывки граждан.

Учиться, учиться и еще раз учиться... – Наглый Вовик здесь цитирует своего тезку, великого вождя пролетариата В.И.Ленина (Ульянова) (1870–1924).

Многие плакали... – А проплакавшись, обернулись «новыми русскими», хапнувшими все то, чем они при Советах управляли.

СМЕЯЛИСЬ – УЛЫБАЛИСЬ

Один длинноволосый молодой человек, путешествуя по творческим надобностям, встретил в Минусинске землячку из города К., про которую было известно, что она – очень развитая, а из себя – эмансипе.

Смеялись. Землячку сопровождала бабушка – такая седенькая, сухонькая сибирская старушка. Тихонько, с мягким добрым юморком смеялись над неловкой старушкой, смеялись над новой кинокомедией, смеялись над всем и вся, и все вместе пошли на автовокзал. Там бабушка перекрестила внученьку, а на молодого человека посмотрела сухо. Молодые люди сели в автобус и покатали в Абакан – барышня вечером собиралась лететь в Новосибирск, а из Минусинска, как известно, самолеты в Новосибирск не летают.

Стояли на площади. Около гостиницы «Хакасия». Смеялись. Молодой человек указал на плоский барышнин животик, оголившийся под модной короткой майкой.

– Как местное население? Осуждало или восхищалось?

– Местное население в общем и целом реагировало нормально. Даже слишком нормально. Соседка Анфиса платье штапельное хотела подарить.

А молодого человека вдруг осенило.

– Махну-ка и я в Новосибирск. Выжался я тут, как лимон. Все! Пора и мне домой!

– Вы ведь, кажется, художник? – уточнила барышня.

– Художник... Я – художник, – небрежно отвечал молодой человек. – Я и писатель, я и художник, я и Моби Дик, я и сын лейтенанта Шмидта. Все! Лечу домой! То-то ребята из группы «Арт-дизайн» обрадуются! Явился, скажут, наш алкаш...

– Вы много пьете? – удивилась барышня.

– Не, по потребности, – молодой человек скорчил рожу. – Кстати, может, щелкнем бутылочку коньячку, который подешевле, а?

– Актуально! – засмеялась барышня. – А успеем?

– О, мы все успеем, – молодой человек таинственно наклонился и таинственно спросил:

– А как у тебя дела в области половой морали? Полное раскрепощение секса или частичное?

Тут барышня слегка улыбнулась и слегка подмигнула молодому человеку.

А тот, обрадованный, стал выкладывать такие свои выкладки:

– Я – человек мягкий. Я – человек безвольный. Но я не люблю вранья, и я не люблю тайну, и я не люблю лгать. Вот я честно открыл свои планчики, и это куда лучше, чем вдруг бы я сидел-сидел да и пустился вдруг ни с того ни с сего тебя лапать. Ведь ага?

– Ага, – смеялась барышня.

– Кстати, ты в Новосибирске долго будешь?

– Не, поеду отдохну на каникулы к родителям в Монголию. Они у меня – блестящие геологи.

– В Монголию! К родителям! Блестящие геологи! Ну ты даешь! А как тебя пустят? Впрочем, монголы же наши братья. Как это – хинди-руси, бхай-бхай!

– Это неважно, что братья, – посерьезнела девушка. – Мне, например, оформляют международный паспорт. Я к бабушке, чтобы время быстрее прошло...

А время очень быстро прошло. Время, можно сказать, пролетело. Как самолет. Они взяли коньяку, шоколаду и поднялись наверх – в одноместный номер человека искусств.

– Секи лозунг: отель «Хакасия» – абаканский «Хилтон», – посмеивался молодой человек.

Он уже немного осовел, и барышня чуток опьянела, и в бутылке оставалось мало. Молодой человек глянул на часы.

– Ну что, давай? – сказал он. – Пора нам, боярыня, в постель!

– Так быстро? Зачем? – вроде бы удивилась барышня.

– За этим самым, – усмехнулся молодой человек. – Ну, давай, а то до самолета-то поди и не управимся.

И тоже подмигнул ей. Он, если позволят так выразиться, возвратил ей подмиг. Он подмигнул и шустро полез к ней под майку. Барышня отпрянула.

– Не подумайте! Не вздумайте! – сказала она.

– Да что ты все на «вы» да на «вы», – вспыхнул молодой человек и схватил барышню за локти. – Договорились же на «ты».

– А я же так быстро не могу, – прошептала барышня. – На «ты». Мне надо привыкнуть.

– Ай, брось ты вертеться! Ну как тебе не ай-я-яй! Ведь я тебе все объяснил, и ты со всем согласилась. Брось, мать, ломаться. Перед мальчиками институтскими будешь ломаться...

– Не подумайте! Не вздумайте! – твердила барышня. – Я должна была вам сразу правду сказать. Я должна, я была, я же – девушка.

– Вот именно, – веселился молодой человек. – Была я молодая... Слушай, тебе не кажется, что наши любовные игры несколько затянулись? Пора и к делу переходить.

– Но я правда девушка. Я – девственница.

И тут молодой человек внезапно все понял. Он понял все. Он резко встал, резко подошел к окну и резко забарабанил пальцами.

– Как же так? – бурчал он. – А Беляев, который из музкомедии, он же у тебя был?

– Вот так же вот и был.

– Врешь, наверное? – неуверенно сказал молодой человек.

– Зачем мне врать? Какой смысл? – потупилась барышня.

– Что ж это получается? – рассвирепел молодой человек. – Где ж твоя голова? Где твоя честь? А мне каково? Я уже настроился. Я целиком настроился...

И они посмотрели друг другу в глаза – рассерженный молодой человек и барышня в слишком короткой майке. Барышня качала головой и глядела грустно. И он глядел тоскливо.

– Ну я тогда пошла, – сказала барышня.

– Привет Чойбалсану, – буркнул тогда молодой человек.

И барышня ушла. Молодой человек стоял у зеркала.

– Смеялись – улыбались, а толку что? – жаловался он зеркалу. – Сплошной обман и сплошной туман...

...Минусинская бабушка скрипнула калиткой. Пес Жук бросился под ноги. Бабушка зажгла синюю лампадку и долго-долго молилась Богу! Потом она покушала что-то из эмалированной мисочки и стала смотреть в темнеющее окошко. Ее губы шевелились, но она ничего не говорила.

***...длинноволосый молодой человек...** – Сейчас КРЕАТИВНЫЕ молодые люди в основном лысые, а тогда любили быть боролатыми и патлатыми.

... а из Минусинска, как известно, самолеты в Новосибирск не летают. – Ну, сейчас, может быть, уже и летают согласно постановлениям Байкальского экономического форума (Иркутск, 2008).

...барышнин животик, оголившийся под модной короткой майкой. – Ну, прямо как сейчас написано, про нынешних дурочек!

...платье штапельное... – Штапель – дешевая ткань из искусственного волокна.

Я и писатель, я и художник, я и Моби Дик, я и сын лейтенанта Шмидта. – Это он так острит, идиот.

...ребята из группы «Арт-дизайн»... – См. рассказ «Арт-дизайн» в этой книге.

...хинди-руси, бхай-бхай! – Русские и индийцы – братья. Расхожий лозунг времен великой дружбы советских коммунистов с Индией (Америка дружила с Пакистаном).

Чойбалсан. – Чойбалсан Хорлогийн – народный коммунистический герой Монголии, большой любитель Сталина. Помер в Москве в 1952 году, то есть задолго до времени действия этого рассказа.

Ее губы шевелились, но она ничего не говорила. – «Мир такой справедливый, / Просто нечего крыть. / – Филя, что молчаливый? / – А о чем говорить?». «Добрый Филя», одно из самых моих любимых стихотворений Николая Рубцова (1936–1971), которого я немного знал в юности. (См. мой роман «Подлинная история „Зеленых музыкантов“».)

ЗЕРКАЛО

Ну, я не знаю – может, оно кому и лучше совсем ничего *не знать*, как писали те древние философы, о которых мне раз толковал по пьянке Витенька, но я-то вот теперь знаю, и я совершенно спокоен, я точь-в-точь так спокоен, как должен быть спокоен тот ихний человек, который, по утверждениям древних этих философов, не должен *ничего знать*, и от этого-де жизнь его становится спокойна, мудра и блестяща. *А я знаю все!* И как мне стыдно было бы, да меня просто корежит от стыда, что я бы мог *не знать*. Какой бы я тогда был слабый...

Я сейчас работаю на штатной должности в институте лесного хозяйства – зверюшек считаю, чтобы потом ученые определили, сколько их еще в тайге в среднем осталось до полного истребления. Это я сейчас. А раньше я имел переменные факты биографии. В частности, по договору с хозяйством охотничал в Эвенкии, а также 1 год 7 месяцев, если не считать предварительного заключения, отбывал по недоразумению примерно в таких же местах, что и охотничал.

Всякое в жизни бывает.

А это «всякое» заключалось в том, что когда мы с Касымом прилетели в город К. и пошли ночевать к его сеструхе на станцию Е., то мы не знали, дома она или нет.

И абалаковские наши рюкзаки затащили в подъезд, чтобы наверх не переть и чтоб шпана не свистнула. Затащили, а сами поднялись в ихнюю квартиру, но сеструхи не было дома, а когда мы спустились обратно вниз, то там уже стоит сотрудник и нежно нас спрашивает:

– Скажите, это не ваши вещи?

– А то чьи ж еще? – отвечаем. А у самих хоть очко и играет, как говорится, да и ничего, думаем, выкрутимся.

– Развяжите, пожалуйста, ваши рюкзаки, – ласково говорит этот гражданин, показывая нам красную книжечку.

– Ну и что, что книжка! На каком основании? – запрыгали мы, как бобики. Но было поздно.

Потому что он тогда лишь мигнул, и нас оперативники под обе руки и сволокли в желтую машину. Привезли, полезли в рюкзаки и очень удивились.

– Вот те раз, – говорят. – Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. У вас есть разрешение, например, на этот охотничий нож?

– Нет, – говорим. – Мы ж из тайги.

– А на этот обреза? А на этот пистолет ТТ?

– Нету, – говорим. – Мы ж из тайги.

– Ну, скоро, видать, мы ее опять вам подарим, – сулятся они.

И как в воду глядели. Потому что как тряхнули капитально наши «абалаковские», так у них на линолеуме и вышла чистая осыпающаяся горка – по колено неклеимых собольих шкурок.

Ну и что? Встать! Суд идет! А нам, главное, обидно – ведь вовсе и не мы им были нужны. Там внизу у кого-то квартиру обчистили, а они искали. Вот и искали бы кого надо, а мы-то здесь при чем?

Да ладно! Что там вспоминать! Отсидели с Касымом и вышли «по половинке». Подельник сразу на Чукотку подался. Ну его, говорит, начисто, этот город К., коли тут счастья нету.

А я-то приторчал тут, я-то приторчал, я-то капитально приторчал.

Видите ли, эта касымовская сеструха Танька (она у них от другого была отца, от русского), эта белая круглая добрая Танька, она мне не только в лагерь все очень хорошее писала, но шли мне даже от нее некоторые очень жирненькие посылки, даром что студентка пединсти-

тута. И вот как-то так мы с ней хорошо встретились, когда я вышел, что там я с ней и остался на станции Е., где она комнату у старухи снимала.

А только как остался? Я остался, конечно, побыл, а потом мне же опять надо. Я всегда пою: «Двенадцать месяцев тайга, остальное – город». Я без тайги не могу. Мне без тайги душно. Я тут тогда сразу в этот лесной институт поступил. Ничего, взяли, плевать им на судимость – путные мужики везде нужны. Ну и я тогда опять с ходу в тайгу. И чего там только со мной не случилось! И доходил в Саянах, когда академика Федотова выводил в районе Джойско-го тасхыла, и с мишенькой мы один на один встречались, да только я не о том.

А я о том, что Танька ко мне странно прикрепилась и каждый раз меня назад ждала. И как я в городе, так – господи! – счастливее ее нету. Она не то чтоб ко мне лезет и ластится, а просто так это... вожмется в меня и бормочет там что-то это: «Маля мой приехал, хорошенький...» – и это... тычется в меня губами, прямо там, на аэродроме. А мне и неловко как-то, а с другой стороны – ух как это! Даже и не понять. «Да ведь и я тебя люблю, что ли?» – думаю.

Короче, в один мой приезд мы с ней взяли да и расписались. Денежки-то у меня были. Денежки у меня всегда есть. Дедушка Денежкин меня ребята звали. Но она, честное слово, ясно, конечно, что не из-за этого. На кой хрен тогда, спрашивается, ей было мне такие письма в лагерь слать, если из-за этого? Так что я как тогда считал, так и сейчас твердо думаю, что тут самая настоящая была и есть любовь. И ничто иное.

Ну и мы, значит, расписались. И я купил двухкомнатный кооператив, чтоб она наконец от той самой тети Фе-ни съехала и принялась выстилать наше семейное гнездо.

Все как у людей. Финский гарнитур мы достали: лежаночки, оттоманочки, полированный стол, зеркало в полстены и вся прочая подобная дребедень. А только у меня ведь работа такая, чтобы я был в тайге. А пуще того и самому охота. Знаю ведь, что и Таньку люблю и не совру, что мне приятно запустить в ванну шампуня, чтоб в этой пене плескаться, а только как мне все ж покойно, как хорошо, когда я разведу меж камней маленький костерок, и котелок булькает, и нету никого кругом на много верст – хоть кричи, хоть пали: никого не дозовешься.

Я ведь и Витеньку тут совершенно не виню. Витенька тут совершенно ни при чем. Я вот иногда думаю, что, может, Танька «при чем»? Так, с другой стороны, и ее винить не за что. Она меня как тогда любила, так и сейчас любит. Это и она мне говорила, да я и сам вижу.

Ну а все же в подобных райских условиях она сначала растерялась, а потом, грубо говоря, стала немножко хвост подымать.

Раньше, когда и квартиры не было и вообще ничего не было, то раньше – нету ничего, да и ладно. Штамп с загса нету, так и то этим меня не щучила. Обнимет, бывало, шепчет:

– Мой!

– А то чей же?.. – шепчу в ответ.

Ну а тут она... Тут я не знаю – бабу, конечно, тоже нужно понять. Но мне сейчас вот кажется, что тогда она крепко себе в голову заколотила, что это я во всем виноват. Когда у ней это... ну, в общем, ребенок должен был у нас родиться, а она выкинула раньше времени. И потом в больнице месяц отлеживалась, и ни одна из ее тридцати телеграмм до меня не достигла, потому что кой черт в тайге телеграф? А на базу я вышел ровнехонько вот через этот самый проклятый месяц.

Так что я ее не виню. А Витенька – мы с ним случайно познакомились, когда я с ходу эти тридцать телеграмм прочитал и тут же – попутным вертолетом в город. Аж трясло всего, пока летел. А встретились – и вижу, что и она хоть и подрагивает еще маленько, а уже тоже вроде как отошла. Это я сейчас понимаю, что вот именно тогда-то она и поломалась, а в тот раз считал, что уже отошла она от всех этих страшных дел. Встретила она меня ласково, нежно, всплакнула, конечно, чуток, а потом мы с ней пошли в кабак.

Ну и там-то мы с ним и познакомились, с Витенькой. Я ведь как был с дороги – бородища, зарос, обмылся только. И Танька – такая беленькая, хрупенькая стала. Он извинился, к нам

подсел, она его узнала, что художник, и он сразу же напросился писать с нас картину на тему «Молодые сибиряки осваивают богатство Сибири». Чтоб мы стояли на крутой скале, а кругом чтоб была дремучая тайга, но ее чтоб прореживала длинная линия серебристой ЛЭП-500. Для выставки.

Я сначала хотел его послать куда подальше, но потом вижу, что и Танька этим делом довольная, и парень вроде компанейский, культурный, хороший парнишка. Да и мне, признаться, любопытно стало, что это будет за такая картина.

Ну, мы на скалу, конечно, не полезли, а на следующий день пришли к нему в мастерскую Дома художника, там обнялись на полтора часа, а он нас и зарисовал. Потом гульнули крепко прямо в той же мастерской. Там еще парни были, и они очень много интересного рассказывали о художниках, живописцах и писателях. И меня теребили, чтоб я им чего побольше заплел про тайгу, сравнивали меня с этим самым Хемингуэем и еще другим американцем, который много лет жил в какой-то там американской хижине около ручья. Таньке очень нравилось, что я им понравился. И она мне говорила, что очень она в результате этой пьянки обогатилась в культурном отношении.

Вот так мы и задружили. Скоро и правда – выставка открылась, и там был наш с Танькой портрет у скалы. Я его хотел у Витеньки купить, но он сказал, что сейчас никак нельзя, потому что его отправляют «на зону». Я на эту *зону* рассмеялся, Витенька удивился, но когда я ему рассказал, о чем смеюсь, то он тоже хохотал и обещал, что когда наш портрет с той зональной выставки возвратится, то он его нам бесплатно подарит.

Ну и шло время, шло, и как-то раз на днях, когда я опять вышел из тайги, напросился Витенька посмотреть у меня этот самый скорострельный карабинчик. У меня тут с ходу мелькнуло, что, может, он хочет баш на баш: он мне портрет, я ему карабинчик? Ладно, посмотрим, думаю, потому что я опять был радостный. Ну, взяли мы, что нужно, да и двинули к нам. Я Таньке лишь перед этим позвонил, чтобы на стол собрала. И она шикарно все сообразила – хариуса малосольного поставила, икры, того-сего.

Ну и пьем, беседуя. О том, о сем. Наконец и до карабинчика дело дошло. Я полез на антресолю, и спрыгнул я, и гляжу я в зеркало – и глазам своим не верю.

И что я в этом самом зеркале вижу?

А я там ничего особенного не вижу.

А я только это вижу, что они это так *напряглись и стараются друг на друга не смотреть!*

Эх, мужики! Ну что тут в таком случае можно подумать? Это я вас, мужики, спрашиваю? Что? Что еще надо для доказательства? И как бы это меня ожгло всего, и как бы это все мои глаза сразу на ихний бардак открылись! И как только я понял, что все теперь знаю, так я и стал сразу ну вот совершенно, ну вот совершенно спокоен, стоя к ним спиной. И, стоя к ним спиной, я поднял верный карабинчик да и пальнул прямо в зеркало.

Что дальше – сами должны понимать.

Грохот. Зеркало вдребезги. Пуля срикошетила и жмакнула в окошко прямо перед самым ихним опешившим носом. Соседи в стенку замолотили.

– Ах ты господи, – говорю. – Вот же незадача.

И обернулся. И карабинчик в руках держу и вижу, что они оба очень бледненькие. Витенька улыбнуться хочет, да немножко губки у него трясутся. Танька вообще как смерть – кровинки нет в лице.

А я-то думаю: «Вот теперь – полный порядок. Главное, что я теперь *знаю*, и она *знает*, что я *знаю*, и он *знает*, что она *знает*, что я *знаю*. И *все всё знают!* И мне теперь поэтому не стыдно, потому что я *знаю все!* А так мне как стыдно-то было бы! Да меня просто корежит от стыда, что я мог бы *не знать*. Какой бы я тогда был слабый!»

– Ты что, окосел, что ли, паразит! – взвизгнула наконец Танька.

– Ага, совсем я бухой, – согласился я, не шатаясь.

– Ну, я тогда пошел, – сказал Витенька, не глядя мне в глаза.

– Иди, иди, сынок, – сказал я.

Он в ответ эдак плечиком поддернул, и я закрыл за ним дверь.

– Господи боже ты мой, – говорит Танька, но тоже мне в глаза не смотрит. – Да ты что?

А я ей:

– Не бойсь ты, Танька, не бойсь. Что-нибудь придумаем. Главное, что я теперь знаю. А уж если я знаю, то обязательно что-нибудь придумаем. Я тебя больше в обиду не дам.

– Да что ты знаешь-то? – вскинула на меня глаза Танька.

– Ладно. Что знаю, то – мое. А зеркало мы с тобой новое купим, и снова наша жизнь потечет прекрасная...

– Да уж, зеркало-то придется покупать, – усмехнулась Танька.

И медленно закурила сигарету «ВТ» из красивой пачки.

– Витенька оставил?

– Витенька.

– Дай выкину в окошко?

– Кидай, мне не жалко, – сказала она.

“к ...мы с Касымом...” – Национальность Касыма ни персонажа-рассказчика, ни автора «не колышет».

...абалаковские наши рюкзаки... – Названы по имени Евгения Абалакова (1907–1948), уроженца Красноярска, скульптора, прославленного альпиниста, первым совершившего в 1933 году восхождение на пик Сталина (Памир). Эта горная вершина в 1962 году стала пиком Коммунизма, а в 1998-м – пиком Исмаила Самани. А Исмаил (874–907), если кто не знает, был эмиром из династии Саманидов и основал первое государство таджиков, о чем весьма кстати вспомнил после перестройки тов. Эмомали Шарипович Рахмонов (р. 1952), нынешний владыка этого государства. Умер Евгений Абалаков странно. В Москве, от взрыва бытового газа.

...«по половинке». – По отбытию половины срока заключения. За примерное поведение.

Джойский тасхыл – высокие скальные горы дивной красоты в северной части Западного Саяна, на трассе Абакан-Тайшет, в междуречье рек Абакан и Енисей. Там снег на вершинах никогда не тает, ручьи прозрачны и чисты. Были. Сейчас там изрядно насвинячили «покорители Сибири».

... с мишенькой... – С медведем, натурально. Вчера, кстати, мне рассказали, что в окрестностях города К. медведь задрал двух пенсионеров. Одного – насмерть, другой в реанимации лежит.

Финский гарнитур мы достали... – Просто купить его, разумеется, было нельзя.

...мне приятно запустить в ванну шампуня... – Шампунь (любой) тоже дефицитом был, равно как бумажные салфетки и туалетная бумага, над чем любили потешаться приезжавшие в СССР иностранцы. Салфетки в точках общепита разрезали частей эдак на восемь для экономии.

«Молодые сибиряки осваивают богатство Сибири». – Освоили. В городе К. дышать нечем и появилось такое чудо, как «кислотный снег».

ЛЭП-500 – высоковольтная линия электропередач.

...американцем, который много лет жил в какой-то там американской хижине около ручья. – Образованные товарищи имели в виду Генри Дэвида Торо (1817–1862), американского писателя и философа, автора книги «Walden, or life in the woods» (1855).

Я на эту зону рассмеялся, Витенька удивился... – Думаю, что сейчас мало бы кто удивился в стране, где каждый восьмой мужик сидел, о чем я недавно прочитал в «Российской газете».

...баш на баш... – Попало в разговорный сибирский язык из тюркского. Баш – голова.

...«ВТ» из красивой пачки. – «ВТ» – «козырные» болгарские сигареты.

ГОРБУН НИКИШКА

А расскажу я вам лучше короткую историю любви горбуна Никишки, который служил продавцом в кондитерском магазине «Лакомка» и некоторое время жил в нашем дворе на улице Засухина близ Покровской церкви. Во флигеле, увитом плющом, с тенистой черемухой перед маленьким окошком.

Как продавец Никишка был уникальным явлением не только в нашем городе, но, пожалуй, и далеко за его пределами. Вежливость Никишки не имела границ.

Подходит, например, к его прилавку полоумная старуха Марья Египетовна, а он ей и говорит, лишь слегка возвышаясь над витриной в своем белом халате и туго накрахмаленной продавцовской шапке синеватой белизны, он ей и поет, сверкая жемчужной улыбкой чистых мелких зубов большого рта:

– Добрый день, уважаемая, рады снова видеть вас в нашем магазине...

Старуха, выпучив слезящиеся глаза, долго смотрит на него, не зная, как оценить создавшуюся ситуацию. А он тогда сам приходит к ней на выручку:

– Могу предложить вам что-либо подходящее из нашего широкого ассортимента. Вот конфеты производства кондитерско-макаронной фабрики, «Клубника со сливками», абсолютно свеженькие, мякотьные, сам вчера за вечерним чайком ими, хе-хе-хе, баловался. Это – «Ласточка», «Пилот», «Счастливое детство». Все абсолютно свеженькое, мякотьное...

– Мине подушечек свесь на десять копеек, – говорит наконец старуха.

– П-жалуйста, дорогая! – мигот откликается Никишка.

Взвешивает, мурлыкая модную песенку, ловко свертывает кулек, машет длинной рукой и кричит вдогонку:

– Благодарим за покупку!.. Приходите к нам еще, не забывайте нас!..

На Никишку приходили смотреть.

– Это невероятно, дорогая Шура. Такое обслуживание мы с тобой имели последний раз, помнишь, тут был на углу красный купец Ерофеев в двадцать пятом году...

И какая-то старуха все тыкала и тыкала сухим пальцем в облезлую шубу собеседницы. И Шура соглашалась, что – действительно. Действительно, приходили они к Ерофееву в юнгштурмовках и холщовых блузах, «кушали», отставив мизинчик, его мелкобуржуазный кофий и даже слегка еретически горевали, когда прикрылось наконец его частное заведение в связи с изменением общей экономической обстановки в стране...

Но были у него и враги.

– Сволочь! – с отвращением глядя на продавца, резюмировал свои впечатления сантехник Епрев, нетрезвый мужчина чалдонской культуры. – Сволочь, иначе не может, что ли, чем так выстеливаться?

– Нет, почему?.. Все-таки определенная вежливость, Сережа. Со старух-то ему какой материальный навар? – возражал Епреву его вечный оппонент и собутыльник Володя Шенопин.

– А зачем он тогда весь в кольцах золотых?! – истерично вскрикивал Епрев.

– А может, у него выпало в жизни наследство какое?.. Вот у меня был же ведь такой случай...

И Шенопин начинал длинно врать про какое-то письмо из Франции, найденную им в дровяном сарае серебряную ложку с вензелем «В.Ш.», таинственную встречу на станции «Библиотека Ленина» Московского метрополитена. Концы с концами не сходились, Епрев морщился, а вскоре приятели и вообще покидали заведение, потому что Никишка уже кричал им тоненьким голосом:

– Товарищи! Товарищи! Давайте все-таки не будем распивать в местах, которые не для этого созданы. А то ведь можно и с милицией довольно близко познакомиться.

– Это он, гад, вежливостью свою натуру компенсирует, – говорил тогда образованный Шенопин, и приятели уходили на берег реки Е., где напивались окончательно и плакали вдвоем, жалея бедную речную воду, быстро и безвозвратно текущую в холодный Ледовитый океан, жалея Никишку, жалея себя, жалея весь белый свет.

А вскоре он появился и у нас во дворе, потому что в него влюбилась продавщица Ляля Большуха и он переехал к ней жить, в ее флигелек, весь увитый плющом, с тенистой черемухой перед маленьким окошком.

Эта Ляля Большуха была знаменита по городу тем, что являлась одной из главных героинь исторического фельетона «Плесень», который возвестил миру о появлении в нашем городе первых стилиг. Была она в то время приезжая девица броской южной красоты, но красота ее быстро потускнела – может быть, от невозддержанной жизни, может быть, от сибирского климата, а может, и вообще просто поблекла красота, и все тут. Так что к моменту знакомства с одиноким Никишкой она представляла собой довольно еще сохранившую все формы, но суховатую, птичьего облика, ярко накрашенную тридцатилетнюю даму. С серьгами и тоже всю, кстати, как и ее избранник, в золоте.

Предыстория их любви не известна никому. Ляля скоро уехала в Норильск, а Никишка при всей его словоохотливости никогда на эту тему не распространялся. Если его о чем-то подобном спрашивали, то он либо молчал, презрительно оттопырив нижнюю губу, либо откровенно смеялся вопрошающему в лицо, отчего тот терялся и умолкал.

Но я все же один раз слышал вечерний, на лавочке близ этого флигелька, увитого плющом, невидимый разговор Ляльки Большухи с ее закадычной подругой, известной в городе по кличке Светка Халда, тоже героиней упомянутого фельетона.

– Послушай, вот ты скажи, только честно скажи, тебе не стыдно с ним? А?

– Ая тебе скажу, что совершенно мне на это... (тут Лялька произнесла грубое слово), что стыдно мне или не стыдно. Он – такой, он, я тебе скажу, что – мне... мне, ты мне не поверишь, а мне, честное слово, никого больше не надо. И потом – с ним знаешь как интересно? Он мне всякие научные истории рассказывает... Да он мне прикажет, я ему буду ноги целовать, я тебе натурально говорю. Ты-то ведь меня знаешь?

Подруга коротко хихикнула.

А у Никишки была машина, маленький, первого выпуска, латаный-перелатанный «Москвич». Епрев с Шенопиным однажды строго допрашивали продавца на предмет выяснения происхождения его личного транспорта.

– Вы, разумеется, слышали куплеты певцов по радио, Шурова и Рыкунина, – прищурившись, сказал Шенопин.

А Епрев исполнил:

*Скромный завмаг приобрел неожиданно
Дачу, гараж, две машины и сад.
Где это видано, где это слыхано,
Если зарплата пятьсот пятьдесят.*

– Старые тут деньги имеются в виду, – уточнил Шенопин.

– Вы, я вижу, ребята, комсомольцы-добровольцы? – оскалился Никишка.

– Какое еще добровольцы? – опешили приятели.

Но Никишка не стал ничего объяснять. Он сказал:

– Наука говорит о том, что был такой француз Телейран Шарль Морис и он тоже обладал кое-какими физическими недостатками, что не мешало ему быть весьма ловким дипломатом, как об этом написано в энциклопедии...

– Нет, мы вовсе не об этом, что физические недостатки, – запротестовали друзья. Но Никишка сел в свою латаную машину и куда-то важно укатил, по каким-то своим частным делам.

А потом была ночь. Мы сидели на лавочке и почти все слышали.

– Я уйду от тебя! – взвизгнула Лялька. – Ты меня обманул!..

– Ну это, во-первых, еще никем не доказано, – спокойно возражал Никишка.

– Я не про то, что вы там с Жирновым заговорились. Это мне на это наплевать – растрату мы покроем. Но то, что вы там с ним бардак развели, вот уж это ты – подлец, подлец ты, Никифор! – кричала Лялька.

– Тише ты! – Никишка подошел к окну. – Там, кажется, кто-то есть.

– А мне плевать, есть или нет. Урод, а туда же! По бабам!

– Урод? – недобро спросил Никишка. И мы услышали звук хлесткой пощечины.

– А-а, ты меня избивать вздумал? – завывала Большуха.

– Тише ты, не ори! – прикрикнул Никишка.

Но Большуха выбежала в одной комбинации во двор. Никишка за ней. В таком порядке они добежали до водопроводной колонки, где он ее все же изловил и возвратил, рыдающую, в дом. Подобные сцены были часты на нашей тихой улице и особого удивления не вызвали. Ну, посудачили бабы, и вообще – население Ляльку же потом и осудило, мистически приписывая ей вину за все, что случилось потом.

А случилось вот что. На следующий день мы выдумали дразнилку, которой и встретили появившегося во дворе Никишку.

Никишка-горбун.

Большуху надул.

Никишка-шишка.

Никишка-шишка.

– Ну-у, злые дети, ведь это же нехорошо так дразнить живого человека. Чему вас в таком случае учат в школе? – почему-то совершенно не обиделся Никишка.

Наутро он потерял свой вальяжный вид. Волосы его были всклокочены, лицо опухшее, щеки небритые, глаза набрякшие. Мне кажется, что он, наверное, всю ночь не спал; плакал или пил. Кто поймет человека?

– Никишка-шишка! Никишка-шишка! – кричали мы.

Никишка лениво погрозил нам кулаком и вдруг неожиданно рассмеялся.

– Злые дети, – сказал он. – Вы себя плохо ведете, злые дети. Но я на вас не сержусь. Я вас сегодня покатаю на машине.

– Ура! – закричали мы и полезли в его драндулет.

Мы ехали за город, мы уехали далеко. Далеко позади остался наш двор, наш город с проспектом Мира и магазином «Лакомка», где на двери белела бумажка «Учет», Покровскую церковь обогнули, кладбище мы проехали, свалку, старый аэродром, березовую рощу, и выехали мы в открытую степь, в чистое сибирское поле.

Ах, как хорошо было в поле! Я и сейчас помню! Было жарко. Высоко стояло солнце. Жаркий ветер, пахнув, приносил дыхание сосен, луга, нагретой травы. Стрекотали кузнечики, летали маленькие мушки. Хохоча, мы катались по траве, тузили друг друга, прыгали, кувыркались. Никишка, улыбаясь, следил за нами. Бросил в кого-то репейником, веселья ради прокукарекал, кувыркнулся и замер, глядя в синее небо.

Сорвал ромашку, растер ее тонкими пальцами.

– Ах, как хорошо, – сказал он.

А потом быстро поднялся и пошел к машине. Мы и опомниться не успели, как он сел за руль и укатил.

Мы сначала думали, что это он шутит и скоро вернется. Но время шло, а Никишки все не было и не было.

– Сволочь, правильно папка говорит, что он – сволочь! – выругался сын Епрева, Витька.

– Нарочно завез, – догадалась Любка-Рысь.

– А-а, как мы домой пойдем? – захныкал Володька Тихонов.

– Ну мы ему устроим, козлу, хорошую жизнь, – сказал хулиган Гера, главарь нашей компании.

И всю обратную пешую дорогу мы строили самые разнообразные планы мести этому проклятому обманщику.

Ну а когда пыльные, измученные, злые наконец появились мы на нашей тихой улице, то выяснилось, что горбун Никишка час назад врезался в двадцатипятитонный самосвал и умер на Енисейском тракте, не приходя в сознание. Лялька билась в истерике. Женщины отпавляли ее валерьянкой.

На панихиду и вынос тела собралось немало народу. Хмурые торговые работники. Множество старух. Старухи плакали и крестились. Плакали две или три красивые женщины, злобно глядевшие на Большуху. Епрев с Шенопиным после поминок беспробудно пили неделю. Ляля Большуха скоро завербовалась на Север. И опустел флигелек, весь увитый плющом, с тенистой черемухой перед маленьким окошком.

*** Во флигеле, увитом плющом, с тенистой черемухой перед маленьким окошком.** – По-моему, здесь влияние романа «Мастер и Маргарита», той его части, где описан домик Мастера.

...полоумная старуха Марья Египетовна... – Из рассказа «Веселие Руси» (см. далее).

Приходите к нам еще, не забывайте нас! – Сейчас продавцов ЗАСТАВЛЯЮТ так обращаться с покупателями, отчего они сильно злятся. Правда, и на Западе официант может тебе тайком плюнуть в суп, если ты ему не понравишься. «ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ ВЗАИМНО ВЕЖЛИВЫ!» – справедливо гласил древний советский лозунг.

Подушечки – дешевые конфеты, начиненные повидлом. Сейчас куда-то исчезли, как и многое другое из прошлой жизни.

...красный купец Ерофеев... – Ни с Виктором, ни с Венедиктом Ерофеевыми я в момент написания этого рассказа знаком еще не был. «Красный» не в смысле «красивый», а в смысле «советский», разрешенный большевиками в рамках новой экономической политики. Потом все быстро прикрыли, конечно...

Юнгштурмовка – полувоенная одежда с ремнями, заимствованная у немецких коммунистов. Любимая одежда наших комсомольцев 30-х годов. Вышла из моды, когда Сталин с Гитлером сердечно сдружились перед тем, как рассориться навсегда.

...чалдонской культуры. – Чалдоны (челдоны) – коренные сибиряки, русские старожилы Сибири.

Епрев и Шенопин – персонажи многих моих рассказов.

Шуров и Рыкунин – популярные исполнители советских сатирических радиокуплетов.

Старые тут деньги имеются в виду... – До «хрущевской» денежной реформы 1961 года, но после реформы «сталинской» (1947).

...комсомольцы-добровольцы... – Из популярной советской песни на слова Евгения Долматовского (1915–1994), имевшей припев:

*Комсомольцы-добровольцы,
Мы сильны нашей верною дружбой.
Сквозь огонь мы пойдем, если нужно*

*Открывать молодые пути.
Комсомольцы-добровольцы,
Надо верить, любить беззаветно,
Видеть солнце порой предрассветной,
Только так можно счастье найти!*

Для сравнения – любимая поговорка сибирских бичей (бродяг): «Хулиганом назвать тебя мало, комсомолец ты... твою мать!»

Никишка час назад врезался в двадцатипятитонный самосвал и умер на Енисейском тракте. – Увы, не удалось ему пополнить ряды «новых русских».

ЩИГЛЯ

Собралась тут веселая компания на даче. Отмечать именины, что ли? Или просто так. Доктор Сережа, влюбленный офицер Потапов и один, который писателем себя называл, а сам сторожем работал, да хозяйка дома, разведенная красавица Наташа. Вот и вся компания веселая, собравшаяся на даче в летний день на свежем воздухе под солнцем.

Ели картошку с тушенкой, огурцы, помидоры, колбасу. Беседовали. Тихо так было, хорошо.

И даже девочка не мешала. Маленькая девочка, деточка, дочка Наташи. Звали ее Оленька. И была Оленька в аккуратном платьице синеньком, и с карими глазками, и в пионерском галстучке. Она с гостями, конечно, не сидела. То есть она сначала посидела, скушала свое, выпила газировочки, а потом и закопошилась где-то там далеко, где куклы, домики, тряпочки, лоскуточки.

– Да! Я не отрицаю. Много, много, конечно, у нас бардака, но я надеюсь, я уверен, что рано или поздно все образуется, – сказал офицер Потапов.

Доктор молчал. Красивое лицо его осунулось. Он серый хлебный шарик мял мытыми пальцами. Поблескивал массивный золотой перстень.

Доктор молчал, а писатель ухмыльнулся:

– Во-во! Я тоже так говорил, когда в плагиаторах ходил. В районной газете. Помнишь, Серж, как тогда на меня напали, что я – плагиатор. А я в ответ, что если я и плагиатор, то плагиатор лишь современного газетного языка. Потому как то, что пишется нынче в статьях, в том числе и моих, халтурных, есть ходульный набор бессмысленных фраз. Помнишь, Серж, а?

Но Серж опять молчал. Зато вступила в разговор Наташа:

– Понимаешь, в твоих словах есть, конечно, что-то такое... верное. Я понимаю. Ты имеешь право. Твоя судьба...

и прочее. Но ведь нужно же во что-то верить? Не все же так мрачно вокруг, как ты изображаешь? Вот ты смотри – какие иногда статьи «Литературка» печатает!

– Критикуют вплоть до министра, – поддержал офицер, преданно глядя на Наташу.

– Эх, Наташка! Глупая ты все-таки, Наташка, – сказал писатель. – Впрочем, пардон, – спохватился он. – Пардон, мадам, целую ручки.

И опять ухмыльнулся, обнажив желтые стесанные зубы. Но – устал, сгорбил, затих.

И все что-то замолчали. Жужжали жуки, оса ползла по белой скатерти, на железной дороге прогудело.

– Музыку, что ли, включить? – сказала Наташа.

И тут на веранде появилась Оленька. Она делала рукой какие-то таинственные знаки.

– Играй, играй, лапушонок, – рассеянно сказала мама.

– Мам! – девочка смотрела умоляюще. – Мам, можно я прочитаю про Щиглю?

– Ну уж это по части дяди Толи, – улыбнулась мама. – Это он ведь у нас... писатель, – тонко добавила мама.

– Мам, ну можно? Дядя Толя, можно? Дядя Сережа, можно?

– Можно, можно, – великодушно согласилась мама, и все устроились поудобнее.

Девочка отставила ножку, сделала ручки по швам и звонко продекламировала:

– Стихотворение «Щигля». Посвящается Карлсону, который живет на крыше.

– ...сексуальной жизнью, – еле слышно пробормотал писатель, но на него посмотрели строго.

*Мы почистим Щигле клетку.
Будет Щигля очень рад.*

*И постелим там салфетку
Для его нежнейших лап.
Щигля – добрый, Щигля – смелый.
Щигля – первый друг ребят.
«Щигля – милый и умелый», —
Все ребята говорят.*

Припев:

*Щигля ты наш детский,
Детский наш, советский.
Катин ты и Олин —
Первый друг ребят.
Щигля наш любимый,
Щигля наш хороший,
Щиглю все увидеть,
Все хотят.*

– Всё! – сказала девочка.

И хотела убежать, но ее остановил обрушившийся шквал аплодисментов.

– Ну ты даешь, мать! Даешь, старая! – хохотал писатель. – Ну даешь! – растрогался он. – И самое главное – Щигля-то, он у нас, оказывается, советский! Верно? Да? Олька, да?

– Действительно, очень интересно, – искренне сказал офицер. – Это прямо творчество. Вы, Наташа, отдайте ее в какой-нибудь кружок. Обязательно отдайте!

– И так уж вся избегалась, – сурово отвечала польщенная Наташа. – И в балетный ходит, и на испанский язык записалась.

– И самое главное – советский! Верно? Да? Олька, да? – не отставал писатель. – А только вдруг он не советский, а немецкий? А? Олька, а?

– Нет, советский! – Глаза девочки налились слезами. – Он – хороший. А ты – дурак! А вы – плохие! – крикнула девочка, вырвалась и убежала.

– Совершенно от рук отбилась, – покраснела Наташа.

– Ничего. Это – временное. Она же растет, – убеждал офицер.

– Отцы и дети. Акселерация. С печалью я гляжу на наше поколение... – веселился писатель.

– Да перестаньте же вы паясничать! – разгневался офицер.

А доктор все молчал. И тут, как это бывает порой, вдруг тучи налетели, молния разорвалась, загрохотало, и хлынул тугой ливень.

Ливень обрушился внезапно, ливень бил точно. Гнулись кусты.

– Быстро! У кого что под рукой – хватайте! – приказала Наташа и ринулась в дом.

Шумные, вымокшие, все внезапно оказались в доме, где на стенке тихо тикали ходики, кот вытянулся в плюшевом кресле и было тихо, спокойно – высохшие цветы стояли в хрустальной вазочке.

– Это называется – божье знаменье, – писатель отряхивал воду с длинных кудрей.

– А что вы не стрижетесь? – спросил офицер. – Под хиппи работаете, что ли? Зарос весь волосами, понимаешь, а считает себя интеллигентным человеком.

– Зря стараешься, – писатель смотрел весело. – Зря стараешься. Ни ты, ни я ей не нужны.

– Это в каком смысле? – насторожился офицер.

– А впрочем, может быть, и не зря. Такие, как ты, то есть «вы», вы – всегда победители. Понял? Не понял? А давай-ка лучше выпьем, брат, что ли? Эх, загулял, загулял, загулял!..

Офицер побагровел, но выпил.

– Оленька! Оленька! – кричала в это время Наташа, бродя по комнатам и скрипя половицами. – Куда ты спряталась, чертовка?!

И наткнулась на доктора. Доктор прижался лбом к оконному стеклу. И дышал на стекло. Снаружи стекали мутные дождевые струи.

– Сережа, что с тобой? – прошептала Наташа.

Доктор молчал.

– Сережа, ну что, что с тобой? – крикнула Наташа.

– Отстань, надоела, – сказал Сережа, не оборачиваясь.

Наташа закурила сигарету.

– Олька такая противная стала, – пожаловалась она. – Слова ей не скажи.

И тут засияло солнце. И мокрая тьма рассеялась. Открылась дверь, и на пороге появилась маленькая сгорбленная старушка.

И что-то странное, жутковатое было во всем ее облике. Клянусь! Маленькая сгорбленная старушка с палочкой, промокшая до нитки, покрытая рогожным мешком. Поклонилась в пояс и сказала:

– Я старушка-побирушка. Подайте копеечку, добрые люди, а я вас уму-разуму научу.

И вдруг сбросила мешок, расхохоталась и кинулась к Наташе:

– Мам, а здорово я вас разыграла? Ну мам, ну мам, правда, здорово? Ведь, правда, здорово?

Потом Наташа много плакала, а офицер велел растереть девочку махровым полотенцем и научил как, а писатель все глотал и глотал водку, а доктор все молчал и молчал.

И было еще довольно светло.

*** Щигля ты наш детский, детский наш, советский.** – Слово «щигля», равно как и эти стихи, изобрела моя племянница Ксения Д. (р. 1963), ныне проживающая в г. Екатеринбурге и зарабатывающая на жизнь журналистикой.

Наташа закурила сигарету. – А ведь тогда многие, даже интеллигентные дамы курили папиросы «Беломорканал» (См. антисоветский роман Владимира Кормера (1939–1986) «Наследство» (М.: Советский писатель, 1991)).

КАК СЪЕЛИ ПЕТУХА

Николай Ефимыч долгое время проживал с женой у моей тети Иры в деревянном домике на улице Засухина. В качестве постояльца, платящего за жилплощадь наличными деньгами раз в месяц.

Грустна, тревожна, зыбка и неясна жизнь людей, не имеющих квадратных метров собственной или какой другой площади. Их гложут неясные стремления и подозрения, им хочется переезжать с места на место, меняя род занятий и деятельности. Им хочется счастья, а они идут в кино, и им опять хочется счастья.

Вот, например, Николай Ефимыч. Замечательный мастер своего дела. Труженик по металлу. Что-то там всю жизнь клепал, варил и паял. Точил.

Только он ведь не всю жизнь точил. Он сначала попал в Сибирь за незначительные послевоенные преступления, а в 1953 году его амнистировали.

В те годы по улицам нашего города амнистированных бродили тыщи. Бродили, ели, спали на чердаках и в подвалах. И через этих бывших зэков жизнь горожан во многом усложнилась. Редко мирный смельчак выходил зимой поздним вечером из дома, потому что все знали: однажды одна дама вышла на пять минут в 9 часов вечера, а навстречу ей шли люди в телогрейках, которые сняли с нее всю верхнюю одежду и часы. А было это в Тарака-новке около мясокомбината. Она тогда кинулась к Суриковскому мосту, увидев, что там светло от фонарей и стоят какие-то еще люди. Она к ним: «Граждане! – кричит. – Меня раздели! Ой! Вон! Вон они побежали. Я их запомнила».

«Ты их запомнила?» – спрашивают.

«Видела! Видела! Они с меня сняли зимнее пальто и каракулевую шапку».

«И как увидишь, то узнаешь?»

«Узнаю, узнаю! Как не узнать», – отвечала женщина, не чуя беды.

И тут ее мазнули перчаткой по глазам, и лицо ее стало цвета крови, ибо в перчатку были вделаны бритвенные лезвия. Ну, окровавленная женщина ошупью выбралась на проспект Мира, упала, и там ее кое-кто якобы и видел. Женщина ослепла, а банда скрылась. Банда «Черная кошка». Сибирь-53.

Или еще рассказывали: поймали детей, подвесили в лесу, изрезали ножами и собирали кровь в колбы.

– Зачем?

– А затем, чтоб сдавать на станцию ее переливания, получая за это громадные деньги.

– Что за чушь!

– Вот тебе и «чушь». Говорят тебе, что поймали детей, подвесили в лесу, изрезали ножами и собирали кровь в колбы.

Но Николай Ефимыч такими делами не занимался, не интересовался и не участвовал. Боже мой! Да он наоборот, он если бы услышал или увидел что-либо подобное, то сразу бы поднял шум и самолично вызвал милицию.

Он вообще ничем не интересовался. По мнению Николая Ефимыча, он и в лагеря попал совершенно случайно, так как был невиновен. Не знаю. Не знаю. Вина – это такое скользкое и неясное моему уму понятие, что я по вопросу виновности или невиновности Николая Ефимовича никак высказаться не могу, так как не понимаю и не располагаю. Важно то, что после амнистии он стал очень спокойным человеком, хотел счастья и поступил на производство, желая приложить к нему свои золотые руки.

И имелась у него жена, торговавшая в промтоварной палатке на колхозном рынке. Елена Демьяновна. По прозвищу Демьян.

Сама она была глухая, то есть слышала лишь немного и произносимое громким голосом прямо ей в ухо.

Глухоту свою она иногда скрывала, делая вид, что слышит все – и громким голосом произносимое, и тихим тоже.

Это сокрытие как-то веселило Николая Ефимыча. Он ее в шутку ругал матом. В шутку. А поскольку она ничего не слышала, то все шло как по маслу: Николай Ефимыч ее ругает, а Демьян не слышит, беседует о том о сем, и он беседует, а как Демьян отвернется, так он ее матом.

А чтобы описать внешний вид супругов, ни мастерства, ни вдохновения не нужно. И большого искусства тоже не требуется. Я вижу их, даже по прошествии стольких лет, чрезвычайно четко.

Он – среднего роста. Мужик да и мужик. И одежда неприметная, серая. В чем все ходили, в том и Николай Ефимыч. Как все ходили – кирзовые сапоги, телогрейка, а брюки чтоб заправлены в сапоги, так и Николай Ефимыч. А когда стали с 1955 года продавать брюки-дудочки и многие их купили, то и Николай Ефимович приобрел.

Обыкновенная одежда – неприметная, серая. Обыкновенный человек – серый, неприметный.

И про Демьяна тоже можно сказать очень просто, что она, поскольку была глухая, то особенно-то и не рыпалась. Носила все самое лучшее из того, что продавалось в ее промтоварной палатке, и не верила в существование слухового аппарата. Считала аппарат обманом, выдумкой газет и журналов.

Они моей тете Ире приносили выгоду. Во-первых, как жильцы, платящие за жилплощадь, а во-вторых, как люди, имеющие отношение к дефицитам. Мне, например, Елена достала у себя в ларьке кирзовые сапоги 35-го размера. Я в то время носил сапоги 35-го размера и ходил во второй класс начальной школы имени Сурикова.

Жили они недружно, но спали всегда вместе. И привыкли, да и деваться им обоим было некуда, так как жилплощадь их являла собой отгороженное фанерой пространство размером 2 на 3 равняется 6 кв. м. Правда, фанера была до самого потолка. Тут уж ничего не скажешь.

А жили они недружно. Видимо, потому, что их обижали имеющиеся друг у друга различные скверные привычки.

Сам Николай Ефимыч очень любил сидеть на корточках, подпирая стену и покуривая махорочку. А также пьянствовать со всеми, кто соглашался с ним пьянствовать. Почему и пропивал обычно все заработанные деньги.

Демьян же его за это не кормила, а если и кормила, то варевом, которое изготовлялось из муки, картошки, воды и пшена. И заправлялось вонючим желтым салом. Сало Николай Ефимыч получал откуда-то аккуратно, но плохого качества.

Тошнотворные ароматы плавали по кухне в процессе приготовления Демьяном семейной пищи.

Ясно, что это обижало Николая Ефимыча.

Раздражало его и то, что глухая любила бесстыдно танцевать под патефон, выпив водочки: задирая ноги и показывая краешки сиреневых панталон. Раздражало, но меньше, чем вонючая пища. Кроме того, его брала досада, что жена через ларек имеет левые деньги и прячет их на неизвестной сберкнижке, а ему не показывает. Делает вид, что их, левых, будто бы совсем и нет.

– Такой бы змее еще одну реформу сорок седьмого года, – бормотал Николай Ефимыч. Не понимая, что сберкнижка гарантирует все реформы. И деньги Елены, если они у ней есть, не пропадут никогда.

Так они и жили. И временами в отношениях между супругами наблюдались жуткие взрывы нетерпимости.

На новый, 1956 год Николай Ефимыч говорит:

– Демьян, давай сварим курухана.

А она не слышит.

– Курухана свариймо?! – кричит Николай Ефимыч.

Не слышит.

– Петуха мне свари, падла! Пожрем хоть на Новый год! – орет он ей в ухо.

А она хоть бы хны.

Помолчала, а потом и заявляет:

– Не дам. Будет новый год, и в новом году надо кушать.

От таких слов Николай Ефимыч весь пошел по роже красными пятнами и замахнулся на Елену табуреткой.

А разговор происходил на кухне. Прыткая и маленькая Демьян проворно отскочила к плите, схватила кипящий чайник и славно трахнула им Николая Ефимыча по голове.

Обваренный заметался, матерясь. Он крушил кухонную обстановку и орал. Он тыкался по углам и пинал стены.

– Ох, убью! – рычал Николай Ефимыч.

Но Демьян тихо-тихо ускользнула и была спрятана моей теткой в подполье. На крышку подполья надвинули для видимости комод. Новый, 1956 год Демьян встретила среди картошки и бочек с капустой.

А Николай Ефимыч все мыкался по квартире, жалобно повторяя, что вот как найдет, так тут же сразу и убьет.

Физиономию ему укутали ватой и обвязали марлей. Он шлялся и щелочками глаз высматривал Елену. Его можно было принять за ряженого.

Сидела Демьян в подполье, сидела. Только сколько же, спрашивается, можно там сидеть? Но – сидела. И дождалась она 2 января 1956 года, когда Николай Ефимыч отправился на работу. И решила она, черт с ним, сварить петуха. В свой ларек она не пошла.

А у них был петух. Вернее, у них сначала были курица и петух. Демьян думала, что курица выведет ей от петуха цыпляток. Цыплята вырастут, станут нести яйца. И Демьян будет полной владелицей куриных яиц. Захочет – съест. Захочет – продаст на колхозном рынке как излишки.

Хорошо она прикинула. А ничего, к сожалению, не сладилось. Потому что, во-первых, петух оказался какой-то не тот, квелый. Он и кур не топтал, а только сидел весь день на жердочке нахохлившись.

И кура взяла да в ноябре месяце и подохла вдруг неизвестно от чего. Гуляла, гуляла по курятнику, потом – лапки кверху. Подергалась, заоченела и стала синеть. Прямо удивительно, до чего быстро умерла курица!

Демьян, конечно, имела кой-какие подозрения. В частности, на тетку или на меня. Но их не высказывала. А не высказывала потому, что и сама толком не понимала, кому и зачем нужно было травить ее курицу.

И остался петух, которого Николай Ефимыч неоднократно просился съесть, но Елена не давала. Таким образом, 2 января 1956 года она все же решила сварить петуха и стала его варить. А Николай Ефимыч в это время пошел на работу, на то производство, где он трудился по металлу.

Там он взял кольцо от подшипника, разрубил, распрямил, выколотил молотком, закалил, подправил. После этого он весь день ширкал по бывшему кольцу напильником.

– Николай Ефимыч, уж не перо ли ты себе мастеришь в рабочее время? Давай лучше крутанемся после праздничка, – говорили ему друзья-рабочие.

Но Николай Ефимыч, насупившись, ничего не отвечал и продолжал усердно ширкать напильником.

– Брось, Николай Ефимыч. Не точи. Ты ведь, Николай Ефимыч, ножик этот на себя точишь, – уговаривал его один рассудительный человек, который так все наперед хорошо знал, что каждую минуту опасался, как бы кто ему не присветил по роже.

Но Николай Ефимыч с загадочной улыбкой отправился домой. Около крыльца, занесенного снегом, он немного постоял, посмотрел вокруг.

– Век свободы не видать, – пробормотал Николай Ефимыч и шагнул в дом.

И увидел, что дома, за фанерной стеной, не воняет жареным желтым салом, что там, за фанерной стеной, очень даже чисто. За фанерной стеной светло. За фанерной стеной на столе бутылка водки, хвост селедки, колбаса и огурцы. И кастрюля, а из кастрюли – пар петуха.

И по пару понял Николай Ефимыч, что он одержал полную и окончательную победу над женой. Что, возможно, и сберкнижка будет его, если она, конечно, есть. А обваренная физиономия – это чушь и мелочь.

Хмурясь, он сел за стол и заорал:

– Демьян!

Тотчас и она, точно как из-под земли.

– Здесь. Я здесь.

Тихая и робкая Елена.

– Садись! Давай! Выпьем!

И точно сели, и точно дали. Выпили. И точно – сели, пили, ели. Выпили поллитру и стали пить вторую. И уже дело дошло до петуха. Он был вынут из кастрюли. И он был прекрасен.

Тогда Николай Ефимыч достал из кармана ножик, показал жене и объяснил, что ей угрожало. Жена отнеслась к зловещему предмету с той степенью искренности и уважения, которая была приятна Николаю Ефимычу. И он отдал ножик жене, и она стала отрезать ножку да ножку, крылышко да крылышко, шейку да гузку.

И они жрали петуха до полуночи, а когда пробило двенадцать, супруги окончательно стали пьяны и завалились спать, не сняв одежд.

Сейчас они оба уже старые и ходят еле-еле. У моей тетки они больше не живут. Теткин дом сломали, и их всех расселили по разным квартирам. Демьян и Николай Ефимыч получили однокомнатную в Пятом микрорайоне.

Я их иногда встречаю. Они идут еле-еле и держатся друг за друга.

Да ведь сейчас, оно, конечно, и жизнь не та: старые дома поломаны, кругом многоэтажье, кругом газ, свет, цвет, лифты, кафельные ванны, лоджии и горячая вода.

Подполья и погреба исчезли, петухов и кур в городе никто не держит, в магазинах продают товары, асфальт кругом. Свободно идешь вечером по улице, встречаешь друзей и знакомых.

Вот и я их иногда встречаю. Они идут еле-еле. Они идут еле-еле и держатся друг за друга.

Вот так и съели петуха...

* Этот рассказ – рекордсмен моих переводов на разные языки и публикаций в различных антологиях.

Николай Ефимыч долгое время проживал с женой у моей тети Иры... – Действительно проживал, и тетю действительно звали Ира, царство ей небесное.

...в 1953 году его амнистировали. – Александр Солженицын (1918–2008) писал в «Архипелаге Гулаг»: «"Ворошиловская" амнистия 27 марта 1953 года в поисках популярности у народа затопила всю страну волной убийц, бандитов и воров, которых с трудом переловили после войны».

С детства помню такие прибалтненные куплеты:

*Рано утром проснешься и откроешь газету.
На последней странице – золотые слова.*

*Это Клим Ворошилов даровал нам свободу,
И теперь на свободе вы увидите нас.*

Елена Демьяновна. – Только сейчас вспомнил, что именно так звали мою учительницу русского языка. Елена Демьяновна, я, честное слово, не нарочно! Я больше не буду!

...очень любил сидеть на корточках, подпирая стену... – Привычка, ставшая второй натурой для эков, солдат и восточных людей.

...еще одну реформу сорок седьмого года... – 14 декабря 1947 года по манию коммунистов деньги в одночасье подешевели, разорив многих советских граждан. Одновременно отменили карточки. Газета «Правда» хладнокровно писала тогда:

«Трудящиеся нашей страны горячо благодарят большевистскую партию, советское правительство, великого вождя и учителя, родного Сталина за отеческую заботу о нуждах народа, о благе и счастье народном. В ответ на эту заботу растет новая волна трудового подъема, неиссякаемой творческой активности советских людей».

Курухана свариймо?! – Подозреваю, что Николай Ефимыч был «западенцем», то есть западным украинцем. За что, скорей всего, и сидел (не на корточках, а в лагере).

...перо... – Увы, как явствует из контекста, это перо, в отличие от гусиного, являлось холодным оружием вроде штыка, к которому поэт Маяковский мечтал приравнять ТО ПЕРО, поэтическое.

Сейчас они оба уже старые... – Ну и что? Я сейчас тоже уже старый, хотя лишь вчера был «молодым писателем».

...кругом многоэтажье, кругом газ, свет, цвет, лифты, кафельные ванны, лоджии и горячая вода. – Все это было, как ни удивительно, уже и при советской власти. Хотя очень дурного качества.

БАРАБАНЩИК И ЕГО ЖЕНА, БАРАБАНЩИЦА

Жила-была на белом свете одна тихая женщина-инвалид, и жил на белом свете вместе с нею один бойкий барабанщик из похоронного оркестра.

Эта женщина однажды проживала с мужем в городе Караганда Казахской ССР и ехала в рейсовом автобусе на работу. И тут у автобуса заглох мотор на переезде, а поезд был слишком близко.

И поезд налетел на автобус, делая кашу и железный лом. И барабанщица вылетела из автобуса.

Во время полета ей разбило голову кованым сапогом, и кости торчали наружу, после чего она что-то все стала бормотать, бормотать, бормотать, а также читала всего лишь одну книгу. А именно: Расул Гамзатов – «Горянка», где он описывает новые отношения между людьми в республике Дагестан и борьбу за их женское равноправие.

Эту книгу она купила в больничном киоске непосредственно после травмы. И никогда больше с ней не расставалась.

После несчастья многие отвернулись от женщины, и первым из них был ее родной муж.

А барабанщик всю жизнь играл на барабане. Он и на фронте бил в барабан, и после войны бил в барабан. Он сильно пил. Он пил, пил, пил и допился до того, что стал играть в похоронном оркестре, где ходил за гробами с музыкой.

И от него тогда тоже многие отвернулись.

Вот тут-то они и сошлись с женщиной и стали жить на улице Засухина во времянке.

Зимой во времянку задувало, но ярко горела печь. А летом у них в садике цвела черемуха, и можно было дышать. Правда, барабанщик все пил да пил, и женщина все бормотала.

А красивая была женщина – черноволосая, стройная.

А барабанщик, кроме игры на барабане, изучал вопросы прочности окружающих предметов. Он сильно сокрушался, что нет на земле прочных предметов. И что если есть вроде бы прочный предмет, то обязательно имеется предмет еще более прочный, который может разрушить первый предмет.

– Ведь если бы не это, твоя голова не была бы расшиблена кованым сапогом, – говорил он барабанщице.

И та с ним соглашалась.

Ввиду неуспешных поисков смысла прочности барабанщик пил все больше и больше. И вот однажды он в полном отчаянии замахнулся на святая святых: он забрался на барабан и стал по нему прыгать. Пробуя.

А женщина сидела на кровати.

Она тихо сидела на кровати и читала любимую книгу. Тихо тикали ходики. Деревянные стены времянки были аккуратно выбелены. В углу висел рукомойник и стояло поганое ведро. На полу лежал половичок.

А барабанщик все прыгал и прыгал, а сам был маленький и толстенький. Он прыгал-прыгал да и прорвал барабан – свой хлеб, свое пропитание.

Он тогда очень огорчился и стал поступать нехорошо. Он стал обвинять барабанщицу в том, что она испортила ему жизнь.

– Если бы не ты, дура, я бы сейчас играл в Большом театре. Я тебя могу побить.

Тихая женщина очень испугалась. Потому что они жили долго, и он с ней никогда так не говорил. Она взяла с собой книжку и убежала на улицу.

А на улице была ночь и плохо горели фонари, так что бежать можно было лишь сильно отчаявшись.

Барабанщик понял это, и ему стало очень стыдно. Он тогда пошел к водопроводной колонке, а сам был волосатый. Он разделся, облился холодной водой, вернулся в дом и вспорол пуховую перину.

Вывалился весь в пуху и пошел искать барабанщицу.

Он нашел ее под завалинкой. Она дрожала от страха и смотрела в темноту из темноты.

– Ну, что ты боишься, дура? – сказал пуховый барабанщик. – Ты не бойся.

Барабанщица молчала.

– Ты не бойся, лапушка, – сказал барабанщик, который был бойкий. – Я не намазался дегтем, я не намазался медом. Я облился водой, и тебе будет легко отмыть меня. Ты хочешь меня отмыть?

– Хочу, – ответила женщина.

Она вылезла из-под завалинки и забормотала: «Хочу, хочу, хочу».

И они вернулись в дом. Барабанщик обнял барабанщицу. Она нагрела воды в большом баке. Вылила воду в корыто и стала отмывать барабанщика.

А он сидел в корыте и пускал ртом мыльные пузыри, чтобы барабанщица не плакала, а смеялась.

* Название явно навеяно песней Булата Окуджавы, где есть такие слова: «...где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?».

Расул Гамзатов – (1923–2003), дагестанский поэт. Лично мне симпатичен. Потому что, когда меня вышибали из Союза писателей в 1979 году, этот аксакал сидел на секретариате Союза писателей немного выпивши и время от времени восклицал во время моей перепалки с противным партийным Феликсом Кузнецовым и другими писательскими начальниками: «Ай, молодец! Хорошо сказал!» – «Заткнись, пьяная морда!» – шипели ему коллеги.

...поганое ведро... – Так у нас именовали помойное ведро.

КАК МИМОЛЕТНОЕ ВИДЕНИЕ

Однажды в ресторан «Север» забрел оборванец. Открылась дверь, и в вестибюле появился гражданин, которому здесь появляться явно не следовало бы. Дранный пиджачок неопределенного цвета, бумазейный свитер, ботиночки с обгрызанными шнурками, немислимые брюки.

Не место, и он сам мог бы это понять, если б имел хоть каплю здравого разума.

Потому что в ресторане «Север» росли кадочные пальмы; рок-ансамбль исполнял по вечерам популярные мелодии, а за чистыми столиками хорошие люди в чистом кушали вкусные и дорогие вещи.

Не следовало бы. Конечно, не следовало. Ну, проголодался. Это понятно, не ты один. Так и шел бы куда-нибудь – в пельменную, пирожковую или на колхозный рынок. Зачем ты сюда-то приперся?

Швейцар товарищ Корольков был очень строгий человек. Мало того – он был очень важный человек. Он был очень крутой человек. Если он ласково говорил ханыге: «Ты куда же это, японец, лезешь без галстука», то ханыга мгновенно рвал когти, ибо твердо знал: ничего путного ему от швейцара после таких слов ждать нечего.

Строгий человек! Даже тогда, когда он приобретал пьяницам выпивку за их же кровные, лицо его сохраняло гордую неприступность. Чистый адмирал, а не швейцар! Адмирал швейцарской гвардии товарищ Корольков. Он, кстати, как адмирал Нельсон, был одноглазый.

Вот. Единственным своим глазом адмирал Корольков с изумлением и ужасом смотрел на вошедшего. Неужели несчастный не знает, какая горькая участь ожидает его, если он попытается проникнуть в заведение общепита первого разряда в таком виде?! Совершенно не важно, что на улице день и главное гуляние еще не началось. Ведь тут хорошие люди кушают, а также могут быть иностранцы, потому что развился туризм.

Корольков хотел сказать: «Ты куда?», но оборванец его опередил.

– Места есть? – спросил он.

Швейцар остолбенел.

– Ты чо, оглох ли, чо ли, дядя Ваня?

Как в дурном сне.

– Ну и стой, молчи, раз ты такой молчун, – резюмировал оборванец и прошел в зал.

Дядя Ваня хотел коршуном кинуться за ним вслед и победить, но вдруг почувствовал, что силы оставляют его тело и он сейчас свободно может хлопнуться в обморок, чего с ним не бывало в течение шестидесяти лет долгой и трудной жизни. От оборванца исходило такое ужасное магнетическое влияние, что Королькову безумно захотелось старательно вычистить щеточкой всю его гнусную одежду. При чем вычистить бесплатно, а этого Корольков не допускал до себя даже в самые горькие дни своей жизни, когда служил в шашлычной около Речного вокзала. В шашлычной, весь коллектив которой в одно прекрасное время отправили за хорошие дела куда надо.

– Господи Иисусе, – прошептал сходящий с ума швейцар.

А оборванец уже сидел между тем за столиком близ окошечка, и на него оглядывались. Подошла официантка и тоже хотела что-то сказать, но он ей и рта раскрыть не дал.

– Здравствуйте, девушка. Как поживаете? – вежливо осведомился оборванец.

– Ничего, – мямлила официантка, не понимая, что такое происходит.

– А как вас зовут?

– Анюта.

– Так вот, дорогая Анюточка. Я тут меню посмотрел, и что-то ничего мне, это самое, не подходит. Скажите, вы сегодня обедали?

– Обедала, – шептала официантка.

– Вот и отлично. Принесите мне все, что вы сегодня ели, плюс грамм триста коньячку.

Официантка попятилась и споткнулась о ковровую дорожку, шикарно устилавшую проход между столиками. Она попятилась, споткнулась и упала, отчего ее юбочка несколько задралась, и показались краешки комбинации.

Оборванец ловко выскочил из-за стола, ловко подал потерявшейся официантке руку с обглоданными ногтями и любезно поинтересовался:

– Что это с вами? Устала, бедненькая. Попробуй-ка за нами за всеми поноси.

И возвратился за столик, крикнув Анюте вслед: «Сигарет еще, „Столичных“ или „Варны“».

А высунувшуюся комбинацию он приметил. Комбинация была не простая, а красно-зеленая, в полоску.

Естественно, что к такому чучелу никто не подсаживался, и оборванец скучал. Он барабанил пальцами по столу и хмурился.

А время было действительно дневное, и главное гуляние еще действительно не началось, почему и метрдотель Марья Михайловна отсутствовала. Глядишь, будь она на месте, все бы обернулось по-другому, а так Анюте и посоветоваться оказалось не с кем. Все девочки бегали, а с поваром советоваться было бесполезно, ибо повар являлся натуральным дураком и мог насочетовать разве что какую-нибудь чушь.

Поэтому она нагроулила поднос едой и обреченно вышла в зал.

Оборванец сидел по-прежнему один, но уже где-то подстрелил закурить. Он пускал дым колечками, и кольца, надо сказать, у него получались замечательные – тугие, плотные. Он их надевал на палец, и они на пальце таяли.

– Полсолянки, люля-кебаб и компот, – сказала бедная Анюта.

– И коньячку, и сигарет.

Анюта молчала.

– И что-нибудь к коньячку: лимончик, семги принесите.

– Семги у нас нет никогда.

– А что есть копченое, вкусненькое?

– Теша нототении.

– Эх, тащите хоть и эту вашу *тёйцу*, – сострил оборванец. – А вообще-то я не ожидал, что официанты так обедают.

– Как так?

– Скучновато, скучновато.

– С нас же высчитывают.

Оборванец засмеялся.

– Я так отсюда голодный уйду. Мяса! Дайте мне больше мяса!

Произнося последние слова, он несколько повысил голос, и слова получились немного визгливые.

Но официантка не вздрогнула.

– Хорошо. Шашлык будете есть?

– Буду, буду. Отлично.

И она принесла. Оборванец вкусно обедал, выпивал и покуривал. Он очень наслаждался жизнью.

Но когда Анюта подала счет, странный посетитель решительно отложил бумажку в сторону.

– Нет! Не говорите мне о деньгах! Мне больно! Этого не измерить деньгами. Лучше скажите, когда вы заканчиваете работу.

– В двенадцать, – отвечала ошалевшая официантка. – Но я еще полчаса считаю выручку.

– Все ясно, – усмехнулся оборванец. – Все понятно. Выручка. Дайте-ка мне ваш домашний адресок. Я приду к вам сегодня ровно в час ночи.

Хотите верьте мне, хотите нет, но официантка дала ему свой адрес. Вывела мертвой рукой на том же самом счете, где значились съеденные оборванцем двенадцать рублей сорок восемь копеек.

– До скорой встречи, – сказал оборванец и исчез, почтительно сопровождаемый швейцаром, который взял под козырек и долго смотрел ему вслед.

Он ушел, а куда ушел – это нам неизвестно.

Зато все известно про официантку Анюту.

Она работала. Она разносила, принимала, подавала, считала, улыбалась, а потом пришла в свою пустую однокомнатную кооперативную квартиру и стала смотреться в зеркало.

Нового ничего не увидела. На нее глядела женщина страшненькая, сухонькая, лет тридцати, с золотым зубом. Начинающаяся сеточка морщинок. Тонкие губки накрашены перламутровой помадой.

– Чушь, – сказала Анюта.

И часы пробили час.

– Чушь, – повторила Анюта через пять минут. – Чушь. Чушь.

И начала переодеваться.

За стенкой развлекались. Слышалось пение «Хмуриться не надо, Лада».

– Не надо, – сказала одинокая официантка, снимая синее форменное платье, развязывая черный галстук с широким узлом, распуская волосы.

И тут прозвенел звонок.

Анюта накинула халатик, открыла.

И сразу поняла, что оборванец порядком пьян.

– Пардон. Задержался в одном месте, – объяснял он, покачиваясь.

Та же гаденькая одежда, то же гаденькое все.

– Уходите. Вы пьяны! – с тоской сказала Анюта.

– Ну, пьян. А почему я должен уйти? – возражал оборванец. – Пустите меня, и я ничего вам не сделаю.

Официантка молчала.

– Ну чо ты? – оборванец обнял Анюту.

И она его впустила.

– Только не подумайте, что я... – сказала она.

– А я и не думаю, – сказал оборванец.

– И не надейтесь, что я...

– А я и не надеюсь.

– Будете пить чай?

– Буду.

Они молча пили чай. Тихо тикали часы. Они молча пили чай.

– Вкусный чай, – сказал оборванец.

– Вкусный чай, – повторил оборванец и обнял Анюту.

Вкусный чай...

– Не надо, – сказала Анюта.

– Нет, надо, – сказал оборванец.

– Ну не надо, – шептала Анюта.

– Надо, надо. Ох, милая! Надо, надо.

– Я тебя очень прошу. погоди! Пстой!

И она села в постели. Оборванец лег на спину.

На полу валялась одежда: красно-зеленая комбинация, халат и оборванцевы тряпички.

- Давай покурим, – сказала официантка, и у ней что-то пискнуло в горле.
- Ну, давай хоть покурим, – горько сказал оборванец. – Это что за черт? Неужели я и отсюда уйду голодный? Это что же за черт?
- Они закурили. В окно светил ясный месяц. Алели точки сигарет.
- А где твой муж? – полюбопытствовал оборванец.
- Муж – объелся груш, – туманно пояснила Аня.
- Ага. Понятно. Бельишко у тебя шикарное.
- Французское.
- Ну? – оборванец привстал. – Да ну? – повторил он. – Врешь!
- Чего это я буду врать.
- Вруби свет.
- И при свете действительно оказалось бельишко французским. Марка имелась – фирма «Карина».
- Во дает, – сказал оборванец.
- И потушил свет. И к ней.
- Давай, давай, давай!
- А она:
- Я, ох, милый ты мой, хороший, я, ох, милый ты мой, лапушка ты моя ненаглядная, я сегодня никак не могу, не могу, ну ты понимаешь? Не могу я *сегодня*, ну не могу, ну не могу.
- Вот так дела, – сказал оборванец, остывая. – Совсем как в том анекдоте.
- Расскажи анекдот, – попросила Аня.
- Анекдот? Слушай. Это мужик приходит домой, а жена ему говорит, вот как ты мне сейчас. А он: «Вы что все, сговорились сегодня, что ли?»
- Ты что? Ты уже сегодня был у какой-то женщины? – вспыхнула Аня.
- Ты чо ты, чо ты, – испугался оборванец. – Это же анекдот, я к слову.
- Смотри у меня, – надменно сказала Аня.
- Оборванец засмеялся и опять стал к ней приставать.
- Милый, лапушка. Я ж тебе сказала. Я правда не вру. Вот ей-бог.
- А тогда давай как-нибудь по-другому, – лукаво сказал оборванец.
- Это как еще по-другому? – помолчав, спросила Аня.
- По-французски давай?
- Это как?
- И оборванец объяснил, как, по его мнению, протекает французская любовь.
- Подлец! – Аня выпрямилась. – Ишь чего захотел! Подлец! Я тебе щас всю морду расцарапаю! Подлец!
- Почему подлец? – мирно оправдывался оборванец. – Я читал в научной книжке, мне один давал. Там написано, что это вовсе не извращение, а все в порядке, если партнеры любят друг друга и чистые.
- Подлец! Подлец! Я к нему, как к порядочному, а он – вон оно что! Подлец! Убирайся!
- Ну чо ты, чо. Ну уж ладно.
- Аня заплакала. Она поплакала и уснула.
- А оборванец опять закурил. Он встал, походил по комнате и разглядел в темноте все: добрый шифоньер, телевизор, радиолу, трельяж.
- Богатая, – пробурчал оборванец. – Официанты все богатые. Они нас обкрадывают.
- И возвратился в постель. И тут наконец увидел он лицо Ани – страшненькое, и тут наконец увидел он тело Ани – бедное, детское. Она лежала, съежившись, и тихонько посапывала.
- И какой-нибудь мальчик босой называть будет «мамочка» гимназистку с пушистой косой, – тихо спел оборванец.

Бедное, детское.

Оборванец застонал. И выругался.

Он застонал, выругался и тоже уснул. Они оба спали. Страшненькая Анюта и оборванец. Во сне они обнялись, а в окошко все светил и светил ясный месяц.

Когда Анюта проснулась, то было уже утро, а оборванца, наоборот, не было. Зато имелась записка. «Анюта! Я тебя очень полюбил. Ты мне запала в сердце. Я тебя буду вспоминать, а через два дня приду. Будь дома. Целую. Твой Юра». И внизу подписано: «Я у тебя взял в сумочке четыре рубля. Я потом отдам. Целую еще раз. Юра».

– Как же! Отдашь! – сказала Анюта и в сердцах изорвала записку.

Эти два дня она как раз не работала. У них был такой график, что сутки работаешь, а потом два дня отдыхаешь. И два дня она не находила себе места.

Была у Вали, у Кати. Отстояв очередь, приобрела в ЦУМе пальто джерси. И шло время, и не шло время, и шло, и не шло. И прошло два дня, и прошло три дня, и прошло четыре дня. И она работала, и она отдыхала, и снова работала, а он все не появлялся.

По вечерам смотрела телевизор. Жила же раньше, жила и теперь. Смотрела телевизор.

И вот как-то раз, кстати в пятницу, она увлеклась передачей под названием «02», которую организывает милиция.

Анюта с интересом смотрела, как они кого поймали. И как ничего нельзя написать, а потом зачеркнуть, потому что есть очень специальные приборы, которые все это дело просекут. Милиционер, как фокусник, велел одному мужику что-нибудь написать и зачеркнуть, а потом немного повозился и объявил: «Здесь было написано „проба пера“».

«Правильно, – сказал мужик. – Правильно. Вы, Иван Иванович, угадали совершенно правильно».

Анюте захотелось чаю. Она пошла на кухню, а когда вернулась, то сердце у ней упало. С экрана на нее глядел Юра. Крупным планом. Глядел, а потом план сменился, и она увидела, что он понуро сидит за столом, лейтенант задает вопросы, а Юра отвечает.

– Что ж. Нам все понятно, – сказал лейтенант и повернулся к телезрителям. – Перед вами Климов Юрий Михайлович, 1935 года рождения. Нигде не работает. Последнее место работы не помнит. Говорит, что служил в цирке, а иногда что был пожарником, сторожем. Что ж, циркач он знатный, – пошутил лейтенант. – Основная специальность гражданина Климова – облапошивание слишком легковых граждан, а в основном – гражданок. Он, пользуясь доверием неопытных женщин и вымогая у них деньги, колесил по Союзу. Таких в народе зовут трутнями. Этот бич, то есть бродяга, как мимолетное видение появляется то там, то тут. Ночует где попало, а на что живет – я вам уже объяснял. Последнее место жительства гражданина Климова...

Аня замерла.

– ...туалет железнодорожного вокзала, – выдержав паузу, сказал лейтенант и строго обратился к оборванцу: – Как думаете дальше жить, Климов?

– Я исправлюсь, – глухо пообещал трутень.

– Что ж, я думаю, у вас будет для этого достаточно времени, – сказал лейтенант и твердо заявил: – Гражданин Климов осужден по статье...

И назвал статью. Бродяжничество, тунеядство, то, се.

– ...на год и шесть месяцев исправительно-трудовых работ.

Анюта как в чем была, так и выскочила на улицу. А на улице, по случаю завершения трудовой недели, гуляли и пели люди.

– У нас сейчас, наверное, тоже поют, – мелькнуло у Анюты. – Мальчики играют, Жора в барабан бьет, а гости поют, пляшут.

В телефонной будке, к счастью, никого не оказалось. Аня набрала «09».

– Да, алё.

- Как можно позвонить на телевизор?
- На какой еще телевизор?
- Ну, на телевизор, где показывают.
- Что вы говорите такое?
- Ну, телевизор, где показывают.
- На студию телевидения, что ли?
- Ну.
- Выражайтесь яснее, – буркнула телефонистка. – А то – телевизор.

И через некоторое время сказала:

- Два-двенадцать-двадцать два.
- Два и двенадцать и двадцать два.
- Алё, это студия телевидения?
- Да. Вас слушают, – раздался веселый голос.
- Мне нужно Климова. Скажите ему, что Анюта, мол, зовет. Он знает.
- Климов? Сейчас я посмотрю.

Посмотрел.

- Климов? Но позвольте, у нас нет такого.
- Мне Климова надо.
- Послушайте, вы, Анюта, какого вам нужно Климова? Вы куда звоните? У нас нет Климова.

– Есть. Там у вас «ноль-два» идет. Он там. Ему дали полтора года. Если нельзя, так пусть хоть под конвоем приведут. Мне ему надо сказать. Ой, дяденька! – официантка вдруг заплакала. – Ой, дяденька, ну я очень прошу, ну очень. Позови, сделай, а я в долгу не останусь. Честное слово.

Дяденька растерялся.

- Эй! Эй ты там! Не плачь. Да не плачь же ты. Не могу я его позвать.
- Не можешь, гад! Ничего вы не можете!
- Да не могу я. Правда! Эта передача, которая сейчас идет, она идет в записи. Понимаешь?

- Как это в записи?
- Она была записана, а сейчас идет.
- Куда записана?
- Куда. На пленку записана, вот куда. Ее записали, по-моему, где-то примерно неделю назад. Сейчас я посмотрю.

– Посмотри.

– Да. Неделю назад примерно. Шесть дней.

Слезы у Анюты высохли.

- Где же мне теперь его искать? – спросила она.
- Не знаю, – человек понес чепуху. – Не знаю, откуда мне знать. Я не в этой редакции. Я дежурю.

– Так где же?

– Не знаю. Вообще-то в милиции, наверное. Или в этой... как ее, в тюрьме.

И наступило молчание.

И продолжалось молчание.

– А вы ему кто будете? – осторожно спросил голос.

– Никто, – ответила Аня и повесила трубку.

И снился сон. Будто бы – черный диск, и на том диске многие.

– Бойся! Бойся! – говорит лейтенант. – Бичи – это огромная разрушительная сила. Если сто человек сибирских бичей запустить, например, в Голландию, то они ее всю покорят и обратят в православную веру.

– А зачем нам, чтобы они были православные, – удивляется Корольков в галунах.

– Совершенно верно, – говорят музыканты.

Цветок растет в скале.

– Вот я об чем и предупреждаю, – нелогично отвечает лейтенант. – Моральный уровень поведения женщин. Аккуратность в этих вопросах.

– Ура! – кричит кто-то.

– Но мы же из другой редакции, – возражают ему.

– Бойся! – итожит лейтенант.

– И несколько поколений голландских детей будут ботать по фене, – неожиданно вступает в разговор Юра.

Юра, Юрочка, лапушка ты моя, гражданин Климов.

‘к **...бумазейный...** – Устаревшее, от франц. *Bombasin* или итал. *Bambagia*. Хлопок. Сейчас говорят «хлопчатобумажный».

...японец... – Ничего здесь обидного для жителей Страны восходящего солнца нет. Скорей всего, здесь латентная к ним приязнь, неконтролируемое восхищение их менталитетом. Не зря же в русский фольклор вошли идиомы «японский городской» и «япона мать».

...рвал когти... – Думаю, что при нынешней прибалтненности общества даже иностранцы знают, что это означает.

Чистый адмирал, а не швейцар! – Говорят, что прозаик Юрий Олеша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, принял адмирала за ресторанного швейцара и попросил вызвать ему такси. А когда узнал от оскорбленного адмирала, что он **НАСТОЯЩИЙ АДМИРАЛ**, то сказал ему: «В таком случае вызовите мне катер». Пожалуй, это не лучшая из олешиных острот.

...ли чо ли... – что ли (*сиб.*).

...отправили за хорошие дела куда надо. – То есть посадили. Эвфемизм, а выглядит куда художественней, чем если бы я прямо написал «отправили в лагерь». «За хорошие дела» – это из народного советского перепева начала поэмы Николая Некрасова (1821–1878) «Коробейники»:

*Эх, полным-полна коробочка,
Снова полная она.
И сидят в ней люди разные
За хорошие дела.
Кто за кражу, за растрату там,
За убийство, за грабеж...*

И т. д.

«Хмуриться не надо, Лада». – Модный эстрадный шлягер тех лет с псевдорусским уклоном, начинавшийся со слов: «Под железный звон кольчуги...». Говорят, что название автомобиля «Лада» обязано этой песне, которую с утра до вечера трендели по советскому радио.

Я читал в научной книжке, мне один давал. – Такие книжки, переведенные с гэд-ээровского немецкого, пользовались среди населения популярностью на порядок выше, чем бредятина про эту самую «Ладу».

И какой-нибудь мальчик босой... – Это из блатной песни «Запоздалая тройка», начинающейся со слов:

*Не храни, запоздалая тройка, —
Наша жизнь пролетит без следа;
Может, завтра тюремная койка
Успокоит меня навсегда.*

...пальто джерси... – Из модной стопроцентной импортной шерсти. Слово «импортный», кстати, тоже исчезло из обихода, ввиду нахлынувшего на страну обилия западных товаров, каждый из которых имеет свою торговую марку, и в этих марках постсоветские граждане научились теперь прекрасно разбираться.

– Два-двенадцать-двадцать два. – Как время бежит! В городе К. теперь семизначные телефонные номера, и бичей (бродяг) примерно на столько же больше (в пропорции).

Бичи – это огромная разрушительная сила. – Асоциальные эти элементы светлой социалистической действительности гордо расшифровывали свое самоназвание как Бывший Интеллигентный Человек и обижались, когда образованные собеседники напоминали им, что английское «bitch» – не что иное, как русское «сука».

...ботать по фене... – разговаривать на тюремно-лагерном жаргоне (*устар.*).

ЖДУ ЛЮБВИ НЕ ВЕРОЛОМНОЙ

У нас в слободе Весны жил один мужик по имени Васька Метус, и у него была жена.

– Ну и что? – скажете вы. – Многие живут в этой слободе, и почти у всех есть жены.

А то, что он свою жену ужасно ненавидел и хотел бы от нее избавиться.

– Ну и что! – опять скажете вы. – Многие ужасно ненавидят своих жен и хотели бы от них избавиться.

А вот то. Слушайте. Многие-то многие, а Метус при живой жене взял да и привел в дом еще одну.

Он привел ее и оставил в сенях. А сам зашел в избу.

Дома сидели его как бы существующая жена Галька и мама-старушка Метуса Макарина Савельевна, которая считала сына дураком, несмотря на то что он ее кормил, поил и одевал в ситцевые платья.

Женщины лузгали семечки.

Пело и играло радио. Тикали ходики. Мурлыкала киска, и домашние накинудись на Ваську, что тот пьяный.

– Ты где шляешься, сволочь?!

– Где? – переспросил Метус и сам ответил где.

Женщины закутились по кухне и думали, что Васька сейчас их начнет гонять.

Но он их бить не стал, а, напротив, сел за кухонный стол, покрытый клеенкой, и сказал заплетающимся языком:

– Г-глина! Мне нужно обсудить с тобой очень важный вопрос.

– Вопрос-вопрос! Что еще за вопрос! Куды? Ложись лучше спать, Васенька, а завтра поговорим, – отвечала Галина голосом плачущим и явно приготовленным на случай Васькиных побоев.

– Сядь! Сядь, баба! – строго и величественно повторил Василий и запел:

Жду любви не вероломной, а такой большой, огромной!

Поняла?

– Нет, не поняла, – отвечала Васькина жена Галина, торговавшая продовольственным товаром в ларьке Заготскота.

– Ну так сейчас поймешь. Я тебе все объясню, – посулился Василий.

И объяснил, что Галина пускай ступает с богом к себе домой или еще куда-нибудь, куда она хочет, поскольку он ее не только не любит, не только не видит в ней своего или вообще какого-либо идеала, но даже имеет новую претендентку на ее место.

– Так что все. Хоре. Пожили рядом, разойдемся ладком.

Васька привел неизвестно откуда взятую пословицу и думал, что все уже, что дело, так сказать, в шляпе.

Но не тут-то было.

– Ой-ой-ой! Ой, глаза бы мои на свет не глядели! – завывала Галина. – Мы ж... Мы ж... Мы ж с тобой муж и жена! Ва-асень-ка!

Крик, плач.

– Мы с тобой никогда не были муж и жена. Ты врешь. Мы с тобой подженились, так вот это точно, мы с тобой подженились, а сейчас я тебе даю развод, – пояснял Василий формальную сторону вопроса.

Пояснял, пояснял, а сам тем временем отворил дверь в сенцы, где притаилась его новая претендентка, и крикнул:

– Подь. Подь сюда!

Новая претендентка оказалась так, ничего себе, а в темноте сенок вообще выглядела некоторой даже красавицей. Галина, увидев это, завывала еще пуще, и сенная красавица вступила в дом.

Она злобно посмотрела на Галину, потом – в угол, где висела икона, а потом бухнулась в ноги Макариной Савельевне.

– Простите, мама! Простите нас. Падай, падай и ты, Василий! – забилась и зарыдала она.

Все рыдали и плакали. Даже Метус пустил слезу. Но на колени он, правда, падать не стал. Он обнял свою старую бывшую подженку, поцеловал ее на прощание и стал выталкивать за дверь.

Все рыдали и плакали, лишь старушка мама сохраняла полное спокойствие.

– Ты дурак, – сказала она сыну.

– Ну почему? – обиделся тот.

– Дурак. Дурак. Падай, Вася. Падай! – соглашалась новая жена, колотясь головой об пол.

Так они и зажили. Славно зажили. Только в первую ночь и проявились вышеописанные неудобства, связанные с переменами и перестановками. А потом все устроилось: Галина убралась к себе на другой конец слободы, где жили ее родители. Убралась и вскоре, по слухам, вышла замуж за солдата из стройбата, квартировавшего в их избе. Солдат обещал на ней жениться, лишь только кончится срок его действительной службы. На Метуса она при встрече подчеркнуто не смотрела.

А новые молодые Метусы зажили удивительно ладно и славно, несмотря на то что Валя, так звали претендентку, оказалась рябенькая. Она в детстве как-то болела оспой, и у нее от оспы остались рябинки на лице.

– Да при чем тут воспа, – горячо и возбужденно говорил Василий матери. – Мало ли у кого на харе черти в свайку играли.

А Макарина Савельевна в ответ на это всегда ему резонно:

– Дурак ты и есть дурак.

– Ты посмотри, какая она работница, – хвалился Васька.

А жена Валя действительно оказалась очень работающая. Она завела поросюшку и телку и очень хорошо их кормила помоями и объедками, которые приносила из столовой. Она работала в столовой. Мыла посуду.

Кормила, поила, холила, и поросенок с телкой росли, как навитаминенные.

И о Ваське успевала позаботиться, и о Макариной Савельевне. В общем, взяла дом в свои руки. Василий иногда не знал даже что и как. Что есть в доме, чего нету. И Макарина Савельевна не знала. А Валька знала.

Славно зажили. И ладно было, и хорошо, а нет-нет да Василий запоеет свою прежнюю песню:

– Жду любви не вероломной, а такой большой-огромной...

– Уж ты и не пел бы так, Васенька, а то сглазишь наше счастье, – говорила жена, льстиво прижимаясь к могучей груди незаконного мужа.

– А я пою. Пою – и все, – упрямо отвечал Василий. – Пою потому, что жизнь разнообразна и может быть все. И с тобой мы оч-чень даже просто можем расстаться. Как в море корабли.

– Ну уж, – пугалась жена.

– Да. Я пою. Все может быть. И знай, что ты для меня вовсе не идеал.

И ведь действительно – он оказался прав.

Потому что в один прекрасный день приходит на двор какой-то мужик и велит отдавать поросюшку и телку, поскольку «Валентина Ивановна мне этих животинок продала через нотариуса».

И мужик стал совать всем в нос какую-то бумагу с гербовой печатью.

– А вот этого ты не видел? – Метус показал, что мог увидеть мужик, и опрометью кинулся по месту работы в столовую, а там выяснилось, что его якобы жена уже уволилась.

– И неизвестно, куда отбыла, – хохотали ее нахальные товарки.

Неизвестно. Это сначала было неизвестно. Телку и по-росюшку пришлось отдать, потому что против гербовой печати не попрешь – можно поломать рога, а мужик в следующий раз привел с собой еще и милиционера. Мужик этот, кстати, оказался ничего. Он имел дом – будку путевого обходчика и решил обзавестись хозяйством. Он сказал, что, может быть, даже и понимает Метуса, но поскольку деньги заплачены, то он тут ничего не может поделать.

Так что пришлось отдать. И только потом обнаружилось мошенничество, а именно что Валька была в сговоре с путевым обходчиком. Выяснилось, что они обо всем уже давным-давно договорились и только ждали, по-видимому, когда подрастет телка. Теперь они стали жить одним домом, в будке, а Васькина любовь, таким образом, кончилась и разбилась, как стеклянный шар.

И Метус, ошалев от всего этого, говорит маме:

– Вот видите, мама.

А старушка ему в ответ одно:

– Это все потому, что ты – дурак.

– Жду любви не вероломной... – запел тогда Метус и стал сажать в поле картошку, поскольку была весна. Он посадил целых десять соток картошки, да и в огороде еще чуть не полный мешок.

Кроме того, он хотел затеять судебный процесс со своей бывшей Валентиной Ивановной по случаю, что она украла у него всю скотину, но та одумалась, испугалась и сама отдала ему по сговору 125 рублей.

На эту сумму Метус купил себе мотоцикл. Мотоцикл был очень старый и весь какой-то ржавый, но обладал одним важным достоинством: сзади для пассажира у него имелось шикарное черное мягкое прекрасное пружинное седло от трофейного мотоцикла БМВ.

Скоро и пассажиры нашлись, потому что Метус опять женился. Как он в этот раз женился – все равно и, пожалуй, даже и не имеет значения. Одно можно сказать, что последняя жена была ничуть не хуже, чем две первые. И не рябая, и не косая, а только чуть-чуть похожая на швабру.

Ну Метус жил себе да жил. И совершенно бесстрашно пел свое «Жду любви не вероломной».

Ну и вот. И настал август месяц, когда падает желтый лист и синееет воздух, когда перелетные птицы собираются домой, когда картошка уже окучена и нужно подумывать о том, как ее убирать и где доставать грузовик, чтобы вывезти урожай с поля.

А на грузовике ездил стройбатовский солдат по имени Рафаил, восточный человек.

Они как-то раз пришли, Рафаил и Метус, к Метусу домой и стали выпивать и договариваться.

Они пили, и жена не вмешивалась, потому что ее не было дома, а старуха молчала, потому что ей было все равно.

Они пили и договаривались, а потом Метус стал жаловаться, что мотоцикл весь ржавый и очень скрипит.

– И выхлопная труба погнутая, – огорчился он.

– Кольца, поршни, аккумулятор – все должно быть новое, а тогда – пускай! – Рафаил рубанул ладонью воздух.

*– Не работает машина.
Не заводится стартер,
Из кабины вылезает*

Разободранный шофер, —

спел Метус.

И они еще выпили.

– Кольца, поршни, труба – все это есть, – сказал Рафаил.

– Где? – удивился Метус. – Нигде нету.

– Э-э, бяшка! – восточный человек скривился. – У меня в городе есть земляк, а у него есть кольца, поршни, моршни, чистим, блистим – у него все есть.

– Вот везет же вам, – восхитился Метус. – Везде у вашего брата земляки.

И сразу же стал хлопотать.

– Мама, – сказал он официально, – скажите моей жене, что пусть она не волнуется, а мы едем в центр за запчастями.

Мама молчала.

– Все для вас же. Стараешься, стараешься, – объяснил Василий, вытягивая из комода семейные сорок рублей. – Мы к вечеру будем.

– Мы на машине, – пояснил солдат Рафаил.

И поехали. А к вечеру не вернулись.

Не вернулись и утром.

Тогда новая молодайка старухе Макарине и говорит:

– Мама, может, их ГАИ забрала.

– Нет, доча, ГАИ их не может забрать, потому что Рафка военный человек. Их может забрать только ВАИ, а тогда Ваську бы отпустили, потому что он – штатский, – отвечала мудрая старуха.

И добавила:

– Поди забурились куда, паразиты.

И точно, забурились, да как еще. К вечеру пришел к ним солдат Рафаил. Вот именно что пришел, а не приехал. Он держал в руках гитару с пышным красным бантом и отнесся непосредственно к Макарине Савельевне, сказав:

– Все, мамаша. Не плачьте и не рыдайте, а ваш сына сидит в КПЗ и получит на полную катушку.

И рассказал ужасный случай, как опять подвела Метуса «Жду любви не вероломной».

...Они никаких запчастей, конечно, не нашли, потому что жена земляка, здоровенная бабища, сказала, что он куда-то уехал.

– Да куда же он мог поехать? Зачем ему куда ехать? – засомневались друзья.

– А я скудова знаю, – сказала бабища и не пустила их в дом.

Они тогда стали ждать и пошли в парк культуры и отдыха, где играл духовой оркестр, где читали лекции про Марс и космонавтов, а также продавали стаканами розовый портвейн.

В решетчатой беседочке, увитой плющом.

– Жду любви не вероломной, – вскоре запел Метус и тряс Рафаила за плечо, а тот открыл один глаз и пробормотал:

– А! Отстань, ара. Дай отдохну.

И положил голову на стол.

А Метус тогда вышел на симпатичную парковую дорожку, посыпанную гравием, и стал гулять, любуясь окружающей его культурой, а также отдыхом.

И вдруг – да, вот именно вдруг, а не как-нибудь – ни с того ни с сего он увидел ту, которую ждал, по-видимому, всю жизнь.

– Жду любви не вероломной, – снова запел он, приближаясь к женщине.

– Да? – хрипло спросила та, которая имела под глазом синяк, прекрасные черные волосы, серьги, накрашенные губы и папиросочку в них. Чулок у ней был спущен, а так весьма хороша

собой и грациозна, как лань. – Да? – переспросила женщина и сказала: – Ты мне шаньги не крути, понял?

– Ты не лайся, я тебя люблю. Ух ты хорошая, – обнял ее Метус.

– Ишь ты! – женщина захохотала, как залаяла. – Хочется. Хочется, а у тебя шалыжки есть?

– Есть, – сказал простодушный Метус. – Вот.

И показал женщине десятку.

– О! Вот молодец! – женщина стала совсем своя и запела:

*Говорит старик старухе:
«Ты купи мне рассыпухи,
А не купишь рассыпухи,
Я уйду к другой старухе»...*
Э-эх, э-эх.

– А такой большой-огромной, – вторил ей Метус.

Потом они пили рассыпуху в той же беседочке, увитой плющом, где Рафик уже отдохнул и беседовал с какими-то людьми, бешено вращая кистями рук. Он поздравил Метуса, сладко чмокнул, посмотрев на даму, и выпил за их здоровье.

Потом он остался в беседочке, а они шатались по симпатичным дорожкам, обнимаясь, курия и веселя своим обликом отдыхающую молодежь.

И шло время. И упала на землю ночь, усеяв темное небо мелкой сыпью звезд, и месяц светил. Светил, светил и освещал справляемый в центре парка, в кустах, непосредственно за гипсовой статуей оленя, нехитрый праздник любви Василия Метуса и черноволосой гражданки.

Видите ли, милиционер. А ему, очевидно, донесла парковая уборщица. Милиционер помешал. Он подошел, он обнаружил влюбленных, извлек Метуса, поставил на ноги и довольно мирно посоветовал:

– Ты, мужик, лучше вали отсюда подобра-поздорову.

А гражданке сказал:

– А ты, Танька, если еще раз тут появишься, то я тебе, бичухе, остригу голову.

– А что я, – заныла Танька.

Что бы Метусу послушать опытного человека, разыскать Рафаила да и валить, валить, рвать когти.

А он взял да, как дурак, заорал на милиционера, кинулся на него, как бык, и ударил влюбленным кулаком по голове.

Милиционер засвистел, Метус еще приложился. На свистки явился Рафик и удержал Метуса от дальнейших необдуманных поступков.

Но как он ни уговаривал, как ни просил милиционера, как ни сулил ему горы золотых восточных денег, тот был непреклонен, и Метуса повезли.

– Он очень обиделся, – объяснил Рафаил. – Ну а вы, спрашивается, не обиделись бы, мамаша, если вас при исполнении служебных обязанностей шарахнули кулаком по голове за ваш же добрый совет?

Старушка заплакала и сказала:

– Я говорила, что он – дурак. Может, его хоть в дурдом посадят, а не в тюрьму?

– Не знаю. Не знаю. Сушите сухари лучше. Что же делать?

И Рафаил ушел, предварительно добавив и пошутив:

– Не плачьте, мама, а то я вам урюку не пришлю.

Так и пошел куда-то с гитарой. Про свою машину даже ничего не рассказал, куда она у него девалась.

Не плачьте, говорит, а как тут не плакать? А?

И старуха плакала. Она плакала, но уже собирала первую передачу: картошечка, огурчики, сухарики.

– Как ты думаешь, Марья, огурчики разрешат ему? – спрашивала она молодайку.

Но та окаменела. Она, как услышала, что произошло, то сначала вся покраснела, а потом окаменела и замолчала.

Она молчала несколько дней, а потом плюнула и стала со страшной силой возить для дома сено, дрова, копать картошку.

Потом она съездила в город и завербовалась у вербовщика на остров Шикотан потрошить рыбу. На суд она не пошла.

– Извините, мама, – сказала она, кланяясь старухе. – Я вам буду посылать немножко, а с Васькой я жить не могу, потому что он – паразит.

– Дурак он, – сказала старуха.

К этому времени все стало известно. Был суд. И Васька получил полтора года. Но обещали, что если будет вести себя хорошо, то могут выпустить «по половинке» или отправить «на химию».

– А то еще, гляди, и амнистия какая выйдет, – утешали люди Макарину Савельевну.

И вот теперь Васька сидит за колючкой. Жёны его – кто где. Рафаил демобилизовался и уехал.

Ваське дали полтора года, и никто не знает, что он будет делать, когда вернется. Начнет, наверное, с того, что опять подженится.

А сейчас – он никому не нужен. Так, по-видимому? Кому он нужен? Жены нет. Рафаил уехал. Так, по-видимому?

Нет, не так.

Ибо старушка мама Макарина Савельевна молча и упорно дожидается своего дурака, которого она родила, растила, купала в корыте, где он говорил «гули-гули», нянчила, покупала ему букварь и стегала ремнем за двойки из школы.

Дождается, надеясь на деньги с далекого острова Шикотан, на урюк и на Господа Бога.

Дождается, питаясь картошкой, солеными огурцами, свеклой, капустой, грибами – словом, всем тем, за что не нужно платить ни копейки денег и что бесплатно растет у хозяев на родной земле.

* Этот рассказ вместе с рассказом «Барабанщик и его жена, барабанщица» был напечатан в 1976 году в журнале «Новый мир». С предисловием Василия Шукшина. После чего я, пардон, проснулся наутро знаменитым, и всего лишь через два года меня приняли в Союз советских писателей, откуда уже через 7 мес. 13 дней исключили за альманах «Метрополь» вместе с Виктором Ерофеевым. После чего Василий Аксенов, Семен Липкин и Инна Лиснянская вышли из этого Союза в знак протеста. Я все помню.

Жду любви не вероломной, А такой большой, огромный! – Из песни Владимира Шаинского (р. 1925) на слова Михаила Танича (1923–2008) «Осенний лес», которую часто исполняли по радио. Сведения эти я получил из Интернета, благодаря моим ФРЕНДАМ из «Живого Журнала», за что я их благодарю.

Заготскот – советская организация, занимавшаяся разведением и убийством крупного рогатого скота и овец.

Хорé – хорошо (*сиб.*).

...черти в свайку играли. – «Ряб, будто черти у него на роже в свайку играли» (*Даль В. Пословицы русского народа*). Свайка – старинная игра, состоящая в том, что толстый гвоздь с большой шляпкой нужно броском вонзить в землю, попав в середину лежащего на земле кольца.

...стеклянный шар. – «Как шар стеклянный этот мир разбился / И растворился в суете сует» (Джон Байрон (1788–1824). Дон Жуан. Перевод Татьяны Гнедич (1907–1976)).

Разободранный шофер... – В жизни, конечно, пелось это куда грубее. Но для литературы – вполне достаточно.

КПЗ – камера предварительного заключения. Теперь называется изящнее – ИВС, изолятор временного содержания.

...ара... – Вроде бы из азербайджанского языка. Приятель, что ли?

Шаньги не крути – не обманывай (*сиб.*). Шаньга – сибирская ватрушка с густой запеченной сметаной.

Шалыжки – деньги (*жаргон*).

Рассыпуха – дешевое крепленое плодово-ягодное вино.

...«на химию»... – расконвоировав, послать под гласный надзор в спецпоселение на «стройку народного хозяйства».

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

– Спаси! Спаси! Спаси, господи! Сохрани и помилуй! Поскольку офонарели кругом, заразы! Поскольку – суета, суета. Суть – тлен и разложение. Подайте на уродство, товарищ!

И нищий, сидевший на крыльце бани № 1 городского треста коммунально-бытовых предприятий, протянул коротковатую руку.

А слесарь проектного института «Сибводпроект» Иван Панкрат ответил ему так:

– Я тебя, харя, вот щас как не поленюсь, так и сведу куда надо. Чтоб ты не бормотал ерунду, поганая твоя рожа. Если ты – урод, то тебе пускай подаст собес. Однако мне сдается, что ты вовсе не урод и вполне можешь что-нибудь делать. Кроме того, я ясно вижу, что ты – пьяный. Эх ты, бессовестная твоя харя – харитиша!

– Ну пьяный! А ты мне, сволочь, подавал? – огрызнулась харя.

Иван задохнулся и прошел в баню, а побирушка остался сидеть и в баню не пошел.

Ни в коем случае не защищая нищего, который есть самый натуральный тунеядец и отброс общественности, я все же должен сказать, что товарищ Панкрат – довольно грубый человек: в поведении и языке. И это, пожалуй, единственный его крупный недостаток. Все остальные не выходят за пределы среднечеловеческих и вполне могут быть терпимы на данном этапе развития личности.

А вот грубость – это да. Тут Ваня крупно подкачал.

Уже будучи сердитым, он купил за 15 копеек билет и зашел в предбанник.

И не радовало его, что сейчас, сейчас скинет он грязненькое бельецо и кожу, слегка зудящую, протрет рогожной мочалкой. А потом встанет под горячий душ и пойдет в парилку, выскочив из которой окатится ледяной водой. «Уф! Уф!» Не радовало, и он сердито глядел на шкафчики, крашенные синей масляной краской, и на тетеньку, которая их открывала. И закрывала, пытаясь предотвратить, чтобы у кого чего не слямзили.

– Ты долго будешь шляться? – поинтересовался Иван.

Но тетенька уже запирала его шмотки: нейлоновую куртку, брючки, ботинки производства красноярской фабрики «Спартак». И, по старости лет не стесняясь находиться в обществе голых другого пола, сказала:

– Если ты такой быстрый, то иди на стадион «Локомотив» и там с кем-нибудь соревнуйся бегом. А я тебе не пара.

– Ты... ты как отвечаешь посетителю? А что как я сейчас пойду к вашему директору и спрошу его: «А где, уважаемый товарищ, ваш сервис?» А? А он тебя за хобот! А? Что ты тогда запоешь?

– А я запою, что в гробе я видала твой сервис, тебя и твоего директора вместе. Потому что за семьдесят рублей смотреть на твою, к примеру, задницу могу только я.

– И вовсе это не мой директор, а твой, – пробормотал Ваня.

В моечной он слегка отошел и даже замурлыкал песню.

Пена славно покрыла его тело. Он пел «Не жалею, не зову, не плачу», но малый рай кончился, когда Иван пошел под душ.

Именно уже под душем выяснилось, что в бане внезапно пропала холодная вода, и выяснилась эта печаль опытным путем. Ваня шустро выскочил из-под душа.

– Гроба душу мать! Да вы... вы что? Так же запросто человека можно обшпарить!

– А ты иди в парную, – посоветовали Ване люди более опытные. – Там, когда в мойке воды холодной нету, там она может быть.

– Гроба душу! Мыло! – вопил Ваня, ворвавшись в парную. – Холодненькой! Холодненькой!

А ему замечают:

– Ты зачем же весь в мыле лезешь париться? Ты разве не знаешь, что от мыла тут будет вонь?

– Я знать тебя, змей, не знаю! Мне глаза щипет, а он хреновину тащит, – ярился Ваня в поисках крана.

Нашел. И, держа голову под облегчающей струей, ругался так страшно и ужасно, что поток его слов остановил строгий голос:

– Постыдились бы вы, молодой человек. Довольно молодой, а позволяете такие гнусные речи.

– Щас, щас. Я тебе щас отвечу, – сулился слесарь.

Но пока он промывал глаза, захлопала дверь, и по промытии глаз в парилке никого не оказалось.

Панкрат тогда вышел в моечную, но там люди сидели уныло и ждали воды. Иван тогда плюнул, наскоро ополоснулся и побежал одеваться.

Он дышал шумно, а когда подошла тетушка, приказал:

– Поддай-ка мне, старая ворона, жалобную книгу. Я там распишу все ваши безобразия.

Тетушка потемнела лицом, открыла кабинку и ушла.

– Книгу, книгу не забудь, – послал Иван вдогонку.

Тетушка не выдержала:

– Фигу – книгу.

– Как так?

– Нету книги, – дерзко отвечала тетушка.

– А где ж она?

– А кто знает? У баб в отделении... Ты иди к ним. Они тебе дадут.

Тут Ванек ослабел и заругался словами окончательно черными.

А между тем за ним уже некоторое время наблюдал какой-то человек – розовенький, толстенький, с женским лицом, бородкой и длинными волосами. Он подошел к Ивану и тронул его за плечо. Иван поднял голову.

– Нехорошо, – сказал толстенький. – Нехорошо так распускаться.

И Иван узнал голос, журивший его в парной.

– Ты еще тут будешь, – буркнул он. – Иди отседа, козел патлатый.

– Нехорошо! Нехорошо уже не только потому, что вообще нехорошо, а также и потому, что завтра – родительский день, а это у русских – праздник. Так что – нехорошо. Грешно.

Тут Ивана озарило.

– А-а! Святоша! Очень приятно! Ты че сюда приперся? У тебя ж, говорят, одна ванная десять квадратов. Ты зачем сюда пришел, опиум для народа?

– Ванная комната у меня действительно довольно вместительная, – сказал человек, в котором Иван узнал попа из Покровской церкви. – Ванная у меня вместительная, – повторил этот человек. – Но дело в том, что я люблю париться и стараюсь, когда есть свободное время, посещать общественную баню. Кроме того, не опиум для народа, а опиум народа. Так будет правильной.

– А ты откуда знаешь, как будет правильной?

– Мы этот вопрос, дорогой товарищ, изучали в семинарии.

– Дак, а вы... это... разве вам можно такое изучать в семинарии? – ошалел слесарь.

– Не только можно, но и нужно, – отвечал поп, но уже нехотя.

Очурав Ивана, он заторопился.

– Постой, постой, – придержал его Иван. – Постой, разговор есть.

– Не о чем нам с вами говорить, дорогой гражданин, – хмуро сказал поп. – А кроме того, я тороплюсь.

– Да я... щас.

И Иван, проворно натянув одежду, вышел вслед за батюшкой, который ждать все-таки не стал, а пошел своим ходом.

И в самом деле, что ему за интерес?

Но пошел он своим ходом прямо в деревянную пивнушку, притулившуюся близ бани. И там Иван его догнал. В пивнушке былолюдно. Толкались. Поп угощался на воздухе. Слесарь обратил внимание на тот факт, что нос попа – красен.

Добыв пару кружек, Иван уселся на завалинке, вынул сушеную щуку и сказал:

– Располагайся, батюшка. Угощайся.

– Постою, – ответил батюшка, но все же присел. И рыбкин хвостик взял.

– Вот ты мне скажи, не знаю, как тебя зовут, – задушевно начал Иван. – Скажи, какой толк вот от этой твоей религии?

– То есть как это «толк»?

– Ну вот что я, например, буду от нее иметь, если вдруг стану боговерующим?

– То есть как это «иметь»?

– Ну как иметь? Ну, вот чем мне станет лучше, если я стану боговерующим?

– Где тебе станет лучше?

– Где? Сказал бы я тебе где... Как где? Здесь.

– А тебе здесь не станет лучше.

– А где?

– Там.

И поп указал на небо.

– И тут.

Поп приложил руку к сердцу.

– Э-хе-хе, – закричал слесарь. – Вот ты себя и обнаружил. Вранье все это! Вранье! Что там? Там наверняка ничего нету. Там – планеты. А в груди у меня и так полный порядок. Тьфу!

Слесарь с досады плюнул и попал попу на ботинок. Поп посмотрел на ботинок и ничего не сказал.

Но и ботинок не вытер.

Беседуя, взяли пива еще. Глазки служителя культа блестели, а слесарь был уныл.

– ...впрочем, кроме этих, весьма отдаленных историй могу рассказать тебе другую, непосредственно происходившую на земле. Хочешь?

– Валяй, – отвечал задумавшийся слесарь.

– Был один человек, – торжественно начал поп. – Он жил во Владивостоке и был из командного состава торгового флота. У него было много денег и чудный дом посредине Владивостока. Моряк жил весело, в труде и праздности, а однажды он задумал уехать из родного Владивостока вдогонку за красивой женщиной, в которую он влюбился.

Тогда к нему пришли моряки из управления и сказали: «Продай нам свой дом. Мы из него сделаем контору, где будет производиться учет. Мы тебе дадим за это много денег».

Но штурман любил свой город, а также был богат. И он сказал: «Мне не надо никаких денег. Я дарю свой дом городу, и пускай здесь будет контора».

«Хорошо, – ответили моряки. – Вот тебе бумажка с печатью, что ты безвозмездно подарил нам свою жилплощадь».

И моряк взял бумажку и уехал вслед за красивой женщиной.

Прошли годы. Любовь не подтвердила его надежд. Моряк побывал в тюрьме и, будучи уже пожилых лет, оказался в городе К., где решил снова строить себе дом.

Для этого он пошел в исполком и сказал: «Я хочу построить себе дом. Дайте мне пятьдесят тысяч ссуды, которую я потом отдам».

«А вы кто будете такой?» – поинтересовались у него.

Моряк все про себя рассказал, не утаив, что он был также и в тюрьме. Последнее не произвело благоприятного впечатления, но дело заключалось не в этом.

«Вы поймите, – мягко объяснили моряку. – Вы, конечно, подарили дом. У вас есть справка. Но мы не можем давать ссуды с бухты-барахты. Это смешно. В крайнем случае поезжайте во Владивосток. Может быть, там для вас что-нибудь и сделают».

«Это что же получается? Что, во Владивостоке одна советская власть, а у вас другая, что ли? – обиделся моряк. – Когда было надо, я помог. Так пускай и мне сейчас немного помогут, когда я нищ и наг».

«Нет. Этого мы сделать не можем. В крайнем случае мы можем дать вам комнату где-нибудь», – твердо ответили моряку.

«Не надо мне вашей комнаты!» – закричал моряк. И поехал он не во Владивосток, а наоборот – в Москву.

Пошел он куда надо, но и там ему ничем не могли помочь. Потому что вообще-то, если говорить честно, претензии его были довольно смехотворны, если говорить честно.

Вышел тогда моряк на площадь. Горько ему, обидно, и вдруг видит он: прямо перед носом – кресты, купола.

Эх, думает, была не была. Где наша не пропадала. Обращусь-ка я к религии. Может, она поможет?

С превеликими трудностями добрался он до важного церковного чина и напрямик изложил ему все дело, предварительно честно объяснив, что сам он – человек неверующий и прибегает лишь по крайней нужде...

«Это неважно, – сказал чин. – А дело вы сделали божеское, отдав дом под контору. Сам я ничего не решаю, но буду целиком на вашей стороне. Оставьте адрес и ждите ответ».

И моряк, оставив адрес, возвратился в город К., где стал ждать, проживая в общежитии гормолзавода. И через определенное время его вызвали для вручения чека, по которому он получил в банке пятьдесят тысяч наличными деньгами. Вот так.

И поп, закончив, сильно выпил из кружки.

Слесарь слушал эту историю, переходя от уныния к радости и наоборот. Под конец он приободрился и при последних словах попа напал на него:

– А-а! Вон ты какие речи завел! Дескать, никто не помог, одна религия помогла. А-а! Вон ты как!.. Ну, погоди! Погоди! Ты дорассказываешься. Устроят тебе с такими историями... обедню.

– Это было во мрачные времена культа личности Сталина, – испугался поп. – И деньги старые. По-новому их было бы пять тысяч.

– А-а. Ну если старые, тогда – другое дело, – смягчился Иван. – А все-таки ты, наверное, врешь.

– Незачем мне лгать. Зачем? А тот человек жив. Он сам мне это рассказывал.

– Ну и что он, как? Живет в своем доме, что ли?

– Нет. Вот тут – плохо. Деньги не помогли ему. Покатился дальше вниз. Встретил я его уже в Норильске.

– Понял, – сказал слесарь. – Намек понял. Вот видишь, что получилось? Получилось, что те-то дело знали, когда не дали денег, а?

– Получилось, что знали.

– Вот тогда и получается, что твой рассказ ни к чему.

– Так я же ведь и не хотел, чтоб «к чему». Я просто рассказал. Без всякой задней мысли.

– Нет, уж тут ты не вилай. Не люблю! – опять распалился слесарь. – Без мысли или с мыслью, а религия твоя по новой терпит ужасное фиаско. Все! Точка! Молчок!

– Ну фиаско так фиаско, – забормотал поп. – Надоел ты мне. Я пойду.

– Посиди, че уж так сразу, – Иван почувствовал себя виноватым. – Сиди. Можем о чем-нибудь другом поговорить. Тебе сколько лет?

– Сорок один.

– И давно этим самым занимаешься?

– С детства открыл душу Господу.

– А родители что? Тоже при церквах околачивались?

– Нет. Тут обстоит сложно. Отец у меня был красный генерал, атеист, неверующий, а мать – уборщица. После смерти отца открыла душу Господу и меня воспитала христианином.

– Однако опять ты врешь! Как же это так? Отец – генерал, мать – уборщица. Разве так может быть?

– Все может быть.

– Как же это так? Вот у меня, например, мать тоже долгое время работала уборщицей, так и отец рубил мясо на колхозном рынке. А у тебя... Нет, тут что-то не то. Странно.

– Странно так странно. Отвяжись. Странно ему... Да и какая тебе разница? Оба они уже давно в сырой земле, царство им небесное, вечный покой.

И поп осенил себя крестным знаменiem.

– Мои тоже копыта откинули, – задумчиво сказал Иван.

Поп pokrивился.

– Ну вот, видишь ты как! Разве ж так можно? «Копыта откинули»! Ведь ты говоришь про величайшее таинство на земле. Про уход в небытие. Ты если не уважаешь уход в тот мир, так хоть уважай своих родителей.

Иван не согласился.

– Хоть и складно ты мелешь, батя, а все-таки я на твои речи плюю. Я тут чую вранье, и ничем ты меня не перешибешь и не переубедишь. И – точка. Молчок.

– Значит, ты своих родителей не уважаешь?

– Я не уважаю своих родителей? – возмутился Иван. – Да я тебе знаешь щас что? Да я – мать, маму милую... Я тебе знаешь что?

– Ну ты! Тише, тише! Что размахался? – прикрикнул поп.

Иван сник.

– Оно конечно. Зачем понапрасну махать. Я тебе лучше расскажу.

– Вот. Рассказывать рассказывай, а рукам воли не давай.

– Да ладно. Я это так. В общем, я почти всю жизнь жил с матерью один, потому что наш отец давно умер.

– Как и я, – перебил поп.

– Что – как и ты?

– Мой отец тоже умер давно. Ну ладно, ладно. Рассказывай. Не мешаю.

– Старик умер очень давно. Он был здоровый, и у него случился удар. Я о нем почти ничего сказать не могу, поскольку тогда, по молодости лет, его еще не раскусил. А потом он сразу умер.

Но – мама, мамочка моя милая! Поскольку это было долго, я очень ее любил. Не знаю, как бы любил, если – быстро... Не знаю. Наверно бы, любил. Матерей все любят.

– Постой. Не понимаю. Что – долго-быстро?

– Жизнь ее и болезнь. Она всю жизнь была как бы одна и болела.

– Чем?

– Тысяча болезней была у мамы. И одна тяжелей другой. А только какая разница – чем?

– Нет, я сравнить.

– Вот. И она болела. А я ж человек, понял. Я иной раз прихожу выпивши. И она на меня СМОТРЕЛА. Понял? А еще, о господи, еще иногда она меня РАЗДРАЖАЛА. Это больная-то. Понял? Раздражала.

– Понимаю, – сказал поп.

– Так ведь я тоже могу не выдержать. Ведь я-то – человек, человек. Двуногий. Понял? Бывало, не выдержишь, смотришь, как она стонет и мучается. И думаешь – скорей бы уж! Скорей! И тебе легче, и мне жить надо. А потом – стыдно. Стыдно до того, что не стыдно даже, а тошнит от стыда. Так бы и блеванул!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.